



С Е Л И М
Я Л К У Т

Л Ъ В О В С К И Й
П Е Й З А Ж
С Б Л И З К О Г О
Р А С С Т О Я Н И Я

Селим Ялгут

**Львовский пейзаж с
близкого расстояния**

«Алетейя»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ялгут С. И.

Львовский пейзаж с близкого расстояния / С. И. Ялгут —
«Алетейя»,

ISBN 978-5-00165-066-9

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-066-9

© Ялгут С. И.
© Алетейя

Содержание

Человек с планеты Черновцы	5
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Селим Ялкуп

Львовский пейзаж с близкого расстояния

Человек с планеты Черновцы

Авантюрно-документальная повесть

Сочетание слов – *авантюрно-документальная* кажется неожиданным. Но более точного определения к этой истории не подберешь. Еще одна ее особенность – отсутствие вымысла, повесть достоверна, насколько может служить документом рассказ о собственной жизни.

Автор сохраняет глубокое уважение к своему герою. Некоторая ирония, присутствующая в отдельных эпизодах, соответствует ироничной интонации самого рассказчика. Пока длилось повествование, его главный и единственный персонаж лежал, покуривал, посмеивался, пил кофе и спокойно дожидался смерти.

Прошлым летом я побывал в Черновцах. Была какая-то необходимость в такой поездке, хоть объяснить я ее не мог. К тому же просидеть лето на одном месте, если к этому не вынуждают обстоятельства, обидно и несправедливо. С годами увлечение краеведением утрачивает праздную беззаботность и приобретает личный характер. Оно может быть исполнением мечты, может быть бегством, той самой осознанной необходимостью, которая заменяет поиски свободы. Достопримечательности нового места оказываются второстепенными в сравнении с другим и главным. Затертому среди привычных каждодневных обязанностей, мне хотелось обнаружить новую ноту, цвет, настроение. Так вытаскивают карту из колоды – наудачу, в надежде на неопределенное авось. В незнакомом городе случается пережить это особое ощущение, которое заменяет в зрелом возрасте охоту к приключениям.

С Черновцами ничего стоящего, на первый взгляд, не вышло¹. Не нашлось знакомых, чтобы устроиться на квартире – в месте, вводящем прямо в городскую среду. Гостиница убивала надежду. Вечером почти все окна оставались темными. Судя по вывескам, несколько этажей сдавалось разным фирмам. Казенным видом, запахами сырого белья, коридорной пыли и ресторанной еды, собранными в один букет, гостиница отвергала мысль о легком, досужем прожигании времени. Это было место для командировочных или бизнесменов, пожалуй, чуть ниже среднего. Приметы сервиса указывали на это с обескураживающей прямоотой. Это был знак. Наверно, поэтому и прочие впечатления были разрознены, банальны и не сулили ничего интересного. Город был наполнен провинциальной скукой. Наступала осень, бессолнечный полдень нагонял уныние. Троллейбус долго простаивал на остановках и тащился, раскачиваясь на вековой мостовой. Качество укладки дорожного камня скрепляет в Европе не только пространство, но само время, у нас мостовые перебирают постоянно. Проплывшая за окном парикмахерская звалась «Авесаллом». Крестьянского вида парень, переругиваясь в толчее, тащил наружу ухарский барабан с приделанными поверх тарелками. От Кафедрального собора разносились во все стороны звуки воскресной службы, а с тыла за оградой бодро дудел, укрывшийся под тентом, диксиленд. Я заглянул внутрь в поисках недавнего парня с барабаном (такие находки-совпадения в чужом городе радуют и запоминаются), но здесь были ребята рангом повыше в рубашках с отложным воротником и глаженных брючках, бравые сорокалетние улыбочивые мальчишки. Джаз омолаживал их, как рекламное средство от простатита. Кларнет взвыл. Молодожен вынес невесту из Дворца бракосочетания под звуки марширующих святых.

¹ Моим спутником был художник Александр Павлов. Мы часто путешествовали вместе.

Улицы подалее от центра пустовали, несмотря на погожий воскресный день. Два бородача, устроившись под стеной, срисовывали в блокноты здание старой синагоги, похожее на кубик с большой розой окна. Архитектура синагог не подчинена единому канону и привлекает досужий взгляд неожиданно. Во дворе напротив с запущенными до жути парадными громко стонала женщина. Большой двор был пуст, как вывернутый наизнанку карман, песочница, качели, скамейки застыли, как в музее под открытым небом. Вместо банальной картины полдня, заполненной играющими детьми и стариками, запасающими на зиму тепло и гемоглобин, жизнь проявляла себя мистически. Это было странно, но именно так. Сверху мужской голос невнятно бубнил, уговаривая женщину. Комната была на третьем этаже, окна открыты и даже виден был край потолка. По-видимому, женщина рожала, стоны были размерены и ритмичны. Двор внимал им в полной тишине. Окна со всех сторон, а их были десятки, глядели мертво – темные и пустые. Становилось как-то не по себе, без шуток. Более убедительный сюжет о рождении шестипалого младенца нельзя было придумать.

Дальше все тоже. Улица перетекла в другую, столь же заброшенную и пустынную. Но вот обнаружилась Никольская церковь – древняя и умирительно невзрачная. Сидя в глубине горбатого травянистого двора, напротив распахнутых ворот, удобно было наблюдать, как бредущие в обе стороны люди – озабоченные и спешащие (так в мультиках для взрослых изображают городскую суету) останавливаются, замирают, крестятся с кивком головы, и следуют дальше.

Приятнейшее занятие – сидеть вот так, ничего не делая, под бревенчатой церковной стеной.

Удивительное зрелище являл вокзал. Он располагался в нижней части города и был неправдоподобно пуст. Отсутствовали не только пассажиры, казалось, из гулкового зала выкачан сам воздух. Вокзал был похож на старые фотографии, невысокое здание (оно и есть тот самый *старинный* вокзал), стоящее одиноко, с паровозом, выглядывающим с тыла, и заблудившейся фигурой в служебной фуражке. Все именно так и осталось, как на старом фото, вплоть до замерших во времени прохожих. Только они оживляли картину. Здесь был конец пути, обрыв, граница. Троллейбус уходил дальше на мост через обмелевший к осени Прут, проплывал неспешно в прозрачном воздухе, делал за мостом разворот, и возвращался назад, взбираясь по булыжному спуску в город.

В кафе наверху школы запивали водку апельсиновым соком и танцевали, каждая сама по себе.

Черновцы всегда были с краю, такова особенная судьба этого города – на краю Австро-Венгрии, Румынии, Советского Союза, а теперь Украины. Как малая планета из фантастических рассказов, город удерживал собственную атмосферу, хранил свой воздух, свой стиль. Менялась политическая география, история, население, и только Черновцы оставались (и остаются) в стороне, поодаль от остального мира. В эпоху государственного дробления это особенно заметно. Чтобы вернуться отсюда в Киев, нужно заезжать в Молдавию и выезжать оттуда, дважды предъявляя паспорта и поклажу для досмотра. А посреди заброшенная станция, по которой бродят неприкаянные пограничники, а пассажиры бросаются покупать молдавские вина и коньяки. Здесь они, говорят, дешевле и лучше – местное *дыоти фри*, развлечение и вознаграждение за дорожную скуку.

Черновцы были похожи на человека, лежащего с повязкой от головной боли. Он может многое рассказать о себе, но сейчас не время и расспрашивать неуместно.

В здании городского музея когда-то был банк, теперь мраморные лестницы скудно увешаны картинами. Трубы отопления изношены, здание заливает, зимой здесь холодно и сыро. Залы заполнены гуцульскими вышивками и пасхальными яйцами – *писанками*. Это все, что запомнилось. Если живешь в империи, нужно быть готовым к упадку. А Черновцы жили в двух.

Интеллигентный моложавый еврей объяснил дорогу на базар. Таково впечатление, что он оставлен здесь для подпольной работы.

Город ощутимо присутствовал и оставался неуловимым. Это было мистическое ощущение, когда вытянув вперед руки, пытаешься наощупь ухватить нечто, неизвестное самому. В каком-то смысле крайняя запущенность, а она присутствовала буквально во всем, городу даже шла. В ней было безразличие и стоическая покорность судьбе. Прошлое не исчезло, оно растворилось, перешло в другое измерение. Остались улицы и дома, это сохранилось и давало ориентир с точностью стрелки компаса. Стрелка указывала в прошлое. Оставалось найти формулу измерения.

Когда я спросил, каким Ф. Б. помнит город своего детства, он не сомневался. – Ну, это Вена. Буквально, только поменьше.

Европа ушла отсюда, как вода после дождя уходит сквозь решетки мостовой. От империи Габсбургов к королевской Румынии, к Советскому Союзу и теперь – к Украине. Те, кто мог сбежать – сбежали, кто хотел уехать – уехали, а сам город оторвался от Европы, как отрывается льдина от ледового массива, унося навстречу опасному приключению оставшихся на ней людей.

Я вернулся домой, недовольный поездкой. И потому зашел к знакомому – переводчику с немецкого. Есть книжка его переводов австрийского поэта Пауля Целана. Юность Целана прошла в Черновцах. Знакомый должен был что-то знать о городе. В доме царила суэта. Хозяин, скорчившись за кухонным столом, пытался работать на компьютере, заглянувшая подруга демонстрировала хозяйке новую шляпку из соломки (осень еще не торопила), юная дочь собиралась в первое взрослое путешествие в Крым, а в коридоре дальняя родственница преклонных лет пыталась сосчитать дни, чтобы не опоздать к предварительной продаже билетов. Только меня не хватало. Вопреки слабой надежде, ничего подходящего о Черновцах в доме не нашлось. Нет, было, конечно, на немецком языке, но немецкий был мне неведом. Зато я получил неопределенное обещание познакомить с директором Австрийской библиотеки, оказалась, есть и такая – дар правительства Австрии. – Но скажи, что ты хочешь? – Уточнял хозяин. Я мычал. Если бы знать самому. И вдруг его осенило. – Слушай, тебе нужно с Г. познакомиться. Ну, конечно. Поговорите. Ты ему полезен будешь, как врач, он тебе – с твоей любознательностью... И, демонстрируя не свойственную ему решимость, хозяин взялся за телефон.

Так я познакомился с Фридрихом Бернгардовичем и очень необычной историей его жизни. И, хоть его рассказ (он растянулся на много встреч) выглядел простым, без фантазии и желания, грубо говоря, приврать, многое казалось просто невероятным. Мое уже немалое поколение прожило спокойную размеренную жизнь, войны, казалось, остались позади, перейдя в эпос и телесериалы. Грядущими катаклизмами постоянно пугали – и раньше, и теперь, когда пришла новая эпоха (соседнюю Молдову война не миновала), но жизнь шла своя, размеренная и скучноватая. И, хоть добывание денег стало отчасти приключением, ничего опасного для законопослушного общества не случилось. По крайней мере, пока. А тут историю века я получал непосредственно от живого свидетеля. Это было просто невероятно.

Я вспомнил передачу по западному радио о Черновцах с участием этого человека. Негромкий, надтреснутый, как бы немного потусторонний голос, тихо вещавший о неммыслимо далекой жизни. Кембридж, Италия, Европа, и все это в обстоятельствах одной биографии. И рассказчик не где-то там, а здесь, где судьбы, в конечном счете, выглядят похожими. Это надо же, – так я тогда подумал. И добраться до этого человека оказалось не так сложно.

Есть такая игра. Кольца набрасывают на торчащий из доски стержень. Так и с обстоятельствами нашего знакомства, одно точно ложилось на другое. Как-то, в те дни я чаевничал у доброй знакомой, подрабатывавшей редактурой, и назвал ей имя этого человека. Г.? – Переспросила она. – Ну, как же. Я расшифровывала его интервью.

Оказывается, несколько лет назад Г. разыскала организация, занимающаяся еврейской культурой. Ее сотрудники записывали жизненные истории. Конечно, история Г. представляла интерес. Но на беду интервьюерши, у нее оказался плохой диктофон, и ответы на многие вопросы вышли неразборчивыми. Повествования, годного для публикации, не получилось. Интервью легло на полку. – И оно у тебя? – Спросил я, удивляясь и замирая. Все оказалось на месте, расшифрованная запись с пропусками фраз и целых кусков текста, замененных многоточиями. Даже сами пленки сохранились. Добыча оказалась богатой только на первый взгляд. Разобрать намного больше, чем было уже сделано, увы, не удалось. Но появилась возможность сравнить результаты моих бесед с Г. и того давнего расспроса. Сама по себе жизнь Г. казалась настолько невероятной, что проще было поверить в выдумку, чем в реальность. Но с учетом временного интервала (за который случилась болезнь, сделавшая Г. инвалидом), выдумка должна бы себя обнаружить. Придумать и соврать не мудрено, но затвердить придуманное слово в слово, на годы вперед весьма непросто. И зачем? А пока я выяснил следующее. В свои восемьдесят четыре года мой собеседник обладал удивительно ясной памятью. Нынешний рассказ и те прежние воспоминания совпадали в мелочах, подробностях, второстепенных фактах и фамилиях.

Но только там, где сам Г. хотел этого. Я обнаружил, что мой собеседник скрыл от меня немалую часть биографии. Несколько лет он работал на те самые *Органы*, которые видятся теперь исключительно в зловещем свете. Кое-что он рассказывал и мне, но цельная картина никак не складывалась. Г. о чем-то умалчивал, это чувствовалось. Во время предыдущего интервью он не нашел в той давней работе ничего предосудительного, зато сейчас счел за лучшее умолчать.

Теперь картина заполнилась. Черновцы и Г. соответствовали друг другу с впечатляющей точностью. Что можно сказать? Это был чужой *нам* человек, здесь подходит это слово *чужой* или даже *чуждый*, чтобы определить глубинные различия в мироощущении. Все дело в той самой предыдущей жизни. Мы не выбираем место рождения и взросления, и, как бы не были отчуждены от него последующей переменной участи – по собственному выбору или вопреки желанию, несем на себе то самое родовое клеймо. То, что осталось с детства, можно забыть, стереть с поверхности памяти, но нельзя переименовать. В отличие от Пьера Прудона, Г. не считал собственность криминалом и не видел ничего предосудительного в фабриканте, как мы не видим подобного во владении автомобилем или дачей. Тут он был гораздо последовательнее нашей номенклатуры и подсуевившихся дельцов, которые сделали всё (по отношению к соотечественникам), чтобы подтвердить радикальную точку зрения: *собственность – есть кража*. Пробыв семь лет в советских лагерях, Г. называл рабство – рабством, как понимал это с детства, и не искал смягчающих аргументов. По воспитанию, он оставался *вне* нашей истории, он просто вляпался в нее, провалился, как проваливаются в открытый канализационный люк.

И при этом многие годы он жил одной с нами жизнью. Жил и не трогался с места. Даже не собирался. С восемьдесят восьмого года, он получил возможность выезжать за рубеж, посещал Европу. Я видел его фотографии на фоне Эйфелевой башни, и рядом с флорентийским Давидом. Когда первый раз он приехал в Германию, еще были живы друзья, одногодки и совсем дряхлые ровесники его отца. Почему он не остался с ними? Его, кстати, уговаривали. Богатейшая племянница, приумножая капиталы, сновала между Тель-Авивом и Франкфуртом. Она и сейчас, наверно, жива. Я видел ее фотографию. С мужем. Румяные старики, будто с фарфора. Танцуют. С обратной стороны открытки – Дорогой Фриц..., это все, что я с моим знанием немецкого мог разобрать. И подпись – Фрида. Был еще жив его итальянский племянник, он умер совсем недавно, позвонили из Триеста, я, как раз, находился у Г. Почему он остался? Мой вопрос. Жена не хотела ехать. А потом? После ее смерти? Я вспоминал знакомых, изнывающих при мысли о заграничье, и не мог найти объяснений. Родной язык – немецкий, не нужно учить, не нужно вживаться в быт, искать (*подбирать* – как говорят наши эмигранты) жильё.

Статус бывшего заключенного. Неплохое пособие. Пенсия... А на кого я оставлю собак? Это его вопрос. Всю жизнь, когда позволяли обстоятельства, он держал собак. Сейчас их было трое – Донна, Мицци и третья, имя которой я позабыл. Маленькие и мохнатые, как белки, они копошились между ним – лежащим и стеной, возле которой стояла кровать, время от времени прыгивая на пол и забираясь назад через неподвижные ноги. На полу был расстелен большой лист полиэтилена и стояла миска с едой. За этим следила женщина, заглядывавшая на пару часов.

Его аргументы были похожи на мешки с песком на баррикаде. Они не выдерживали натиска серьезных доводов, но за ними была решимость отстоять себя, сила личности, принявшей брошенный ей вызов. Здесь оказался выстроенный им мир, здесь – могила его жены, здесь его собаки, в этой же стране родные Черновцы – детство и юность, лучше которых не будет уже ничего. Во всем этом была цельность. Куда ехать? Человек, был всю жизнь независим не для того, чтобы в ее конце изменить самому себе.

Это еще до того, как случилась беда с ногой. Потом его бездарно лечили (за деньги, так платная медицина доказывала свое преимущество над бесплатной), и он оказался прикован (очень точное здесь слово) к кровати. Брошенный людьми, на которых, казалось, мог рассчитывать, он лежал, смотрел целыми днями телевизор. Кабельное телевидение работало в его доме, как нигде в городе (тут ему невероятно повезло) – шли немецкие, итальянские программы. Он читал немецкие газеты и *Ридерс Дайджест*. Мне сообщил доверительно. – Вы себе не представляете, как трудно умереть.

Я провел с ним немало часов, как правило, по воскресеньям. Брал ключ в квартире этажом ниже, и бросал туда же, в щель почтового ящика, уходя. Пару раз соседка заносила угощение, основательные, жареные на масле пирожки. И больше никого. Телефон беспокоил пару раз за все время. Я варил кофе, мы покуривали и общались. Пирожков Г. не ел, желудок не принимал, но собачкам они были кстати. Вообще, ел он мало и несколько раз брался голодать, неделю он преодолевал спокойно и считал полезным. У него был опыт. Г. был вполне живой человек, и, если считаться с тем, что часть естества отмирает еще при жизни, мог дать фору гораздо более молодым. Он был наделен стоическим достоинством умирающего человека. Отношение к уходящей жизни оставалось легким и даже немного капризным – почему приходится столько ждать? Все это не могло не вызывать сочувствия. Некоторая ирония, присущая отдельным эпизодам, соответствовала интонациям самого рассказа. Умер он за день до дня рождения, восьмого марта ему бы исполнилось восемьдесят пять. Он умер седьмого. Так прошло наше общее время с октября по март.

Далее следует история жизни Фридриха Бернгардовича, слово в слово.

Из анкеты. Фридрих Бернгард Гольдфрухт родился 8 марта 1918 года в городе Черновцы, в последний год существования Австро-Венгерской империи. В том же году город стал румынским, Австро-Венгрия распалась. К тому времени его отец – Бернгард Гольдфрухт был врачом в австрийской армии, мать – Фаня Фридман медицинской сестрой. Отец закончил Венский университет с дипломом врача, был лучшим в своем выпуске. Родители поженились в 1900 году, в 1901 году родилась сестра. Фридрих был поздним ребенком, отцу было 50, матери – 37.

Как отец воевал. За участие в войне отец был награжден орденом Австро-Венгерской Империи *Viritude Military* – За военную доблесть. Отец – равнодушный к чинам и отличиям – этим орденом гордился и в торжественных случаях носил, даже когда Черновцы стали румынскими (во время войны Румыния воевала против Австро-Венгрии на стороне Антанты). Отец в чине полковника командовал крупным армейским госпиталем. В Карпатах шли тяжелые бои с участием кавалерии, пехоты, много было раненых, больных, обмороженных. Линия фронта

часто менялась, раненые австрийцы оставались с русской стороны, русские – с австрийской. Примерно раз в месяц отец надевал парадный мундир, садился в седло. Объявляли короткое перемирие и во главе госпитального обоза с ранеными отец отправлялся на русские позиции. Там он сдавал раненых русских, а взамен получал своих. На этот счет была договоренность с противником. Лечил он всех одинаково. Русские его знали и встречали очень тепло. Врачи и сестры враждующих армий, встречаясь, обнимались, как близкие люди, будто не было войны. Все они – русские офицеры и солдаты были очень хорошими людьми, именно так – не только солдатами, но людьми, вспоминал доктор Гольдфрухт. Австрийских медиков поили чаем, в спокойное время устраивали застолье, и всегда давали с собой сало (доктор его не ел), головки сахара, мед.

Во время войны Черновцы несколько раз переходили из рук в руки, город попеременно занимали русские, румыны или отбивали австрийцы. В самом городе боев не было. О русских сохранились наилучшие впечатления, не было грабежей, никакого мародерства (в отличие от румын, те грабили). В дела городского управления русские не вмешивались. Бургомистр, чиновники оставались на своих местах. Во время русской оккупации доктор Гольдфрухт находился со своим госпиталем в Черновцах, ходил в военном мундире, только погоны снял. В его госпитале солдаты враждующих армий лежали рядом. Вообще, для тех Черновцов национальная терпимость была естественна. И до войны в многонациональном городе было много *рутен* – так звали украинцев, русский язык слышался на улицах. И межнациональные отношения с войной не изменились.

Отец был невысок, плотного сложения, на лошади сидел хорошо. Со времени войны осталась именная австрийская сабля. Была фотография матери в косынке с красным крестом, всю войну она была рядом с мужем.

Верните нам синагогу. Родоначальником семьи считался еврейский купец из Франкфурта. Прадед. Хасид. Дед уже имел дело в Черновцах. У них была торговля фруктами. Отсюда и фамилия – Гольдфрухт. В Австро-Венгрии богатым евреям давали титулы. Вернее так, титул можно было купить, он передавался по наследству и отношение к нему было серьезное. Дед Арон бен Ицхак стал бароном. Барон Гольдфрухт, так же, кстати, как и барон Ротшильд, тот тоже был родом из Франкфурта. В Черновцах была улица, доходные дома на которой – более чем столетней давности принадлежали Гольдфрухтам. Там же была синагога в восточном (ориентальном) стиле – с золотым куполом. Двухэтажный дом, внизу жил раввин, сама синагога наверху. Над главным входом надпись: *Синагога построена Ароном цадиком Гольдфрухтом.* Помещение небольшое, примерно на сто пятьдесят человек, всегда переполнено. Там молились хасиды. В отличие от своих родителей, Бернгард Гольдфрухт не был религиозным. Но два раза в году он обязательно посещал синагогу вместе с сыном – на Йом-Кипур и на Пейсах. У них были почетные места рядом с Торой. Сын возле Торы, отец рядом.

Синагогу разорили то ли в 40-м году, то ли позже – сразу после войны. Все это время Фридрих Бернгардович отсутствовал по независящим от него обстоятельствам, а именно, сидел в тюрьме и лагере. Похоже, что ломать начали при румынах, а дело довершили уже наши, советские. Румыны – в силу политики государственного антисемитизма, а советские – из принципиального отношения к религии, закрывали все храмы подряд. Тору, похоже, уничтожили при Советах. Старики-евреи, воспитанные в уважении к чужой собственности, еще долго на что-то надеялись. Когда в сорок седьмом году Гольдфрухт вернулся из лагеря, к нему явилась целая делегация. Просили обратиться к городским властям, объяснить, что синагога принадлежит его семье. Пусть вернут. К тому времени единственным документом Гольдфрухта была справка об освобождении из лагеря. Но люди уговаривали, над входом в синагогу еще оставалась надпись, при желании можно легко доказать. Так рассуждали правоверные иудеи. Но сам бывший

владелец уже имел представление о нынешних порядках. Никуда он не пошел. Тем более в здании синагоги к тому времени обосновалось общежитие.

Собака, которая съела луну. Дед со стороны матери снабжал австрийскую армию фуражом. В Черновцах стояло немало войск, кавалерии, спрос на фураж был большой и постоянный. Дед жил в большом доме с вензелями над входом – МФ – Мишури Фридман. Ко времени рождения Фридриха дед умер, и мальчика назвали в его честь – еврейское – Мишури соответствует немецкому – Фридрих. В живых еще оставалась одна из бабушек – мать матери. Маленький Фриц запомнил ее так. Старая женщина лет семидесяти. Нос картошкой. Принимала родственников, сидя в глубоком кресле, на голове парик, мальчику он казался серебряным. Жила в том самом доме с вензелями. Когда началось воспаление легких, отец забрал ее к себе. Но спасти не удалось, бабушка умерла в 1926 году. Похоронена в Черновцах.

Тогда семейной историей Фриц не особенно интересовался, он вырос, были свои интересы. Знает, что деды с обеих сторон были двоюродными братьями. У евреев это разрешалось. Ему запомнился дядя матери – Мойша Фридман, дядя Мойша. Материнская семья была родом из Садгорода (Садогуры). Тогда это был черновицкий пригород. В этом Садогуре был раввин, который считался *бунда* – чудо раввин. Это и был Мойша Фридман – очень святой человек. Молиться рядом с ним почиталось за величайшее счастье. Со всей Буковины собирались. Дед запомнился Фрицу. Дряхлый старик, еле двигался, глаза красные, очки необычайной толщины. Сидел целый день и постоянно читал молитву, бубнил размеренно и раскачивался. Ничто другое его не интересовало. Отец просил за ним смотреть, чтобы хоть немного ел. Благодаря этому человеку, евреи считали Садогуру святым местом. В новые времена в тамошней синагоге сделали кузницу.

Мать рожала Фрица дома, отец принимал роды. Фриц хорошо помнил себя с трех лет, когда его пытались отдать в детский сад. Из этой затеи ничего не вышло, Фриц был очень энергичный мальчик. У него была французская бонна. И еще большая собака – Мури. Как-то бонна усадила собаку на подоконник. Стены в доме были очень толстые, подоконники большие. За окном сияла луна. Потом луна скрылась за облаками, и бонна пояснила: – Это Мури съела луну.

Негативы были тогда на пластинках. Фридрих всю жизнь был большим любителем фотографии. Однажды после возвращения из лагеря он проходил по черновицкому базару. Торговали тогда, чем угодно, любым старьем. Какая-то женщина вынесла целый ящик этих фотопластинок. Фриц присел рядом и нашел среди пластинок себя, четырехлетнего.

Как отец работал. Это был известнейший человек в городе. В доме перебивал весь цвет местного общества. Репта – митрополит Буковины был другом семьи. Приходил Дори Попович – румынский министр по делам Буковины, в Черновцах – лицо номер один, больше, чем султан, причём не пьяница, не самодур, культурный человек. Его жена Стелла была лучшей подругой матери. Заезжала почти каждый день на послеобеденный кофе. Мать много занималась благотворительностью, была распорядительницей Еврейского дома сирот и Вице-президентом Красного Креста Буковины (выше мог быть только румын). Кофепитие было не только приятным, но полезным и, если хотите, политическим.

Отец был Председателем городской коллегии врачей. Он же организовал в Черновцах *Скорую помощь*. Для начала купил военную медицинскую коляску – двуколку. Коляска стояла в пожарном депо. При ней полагались врач и санитар. Потом, за собственные деньги доктор Гольдфрухт добавил к коляске машину. Вторую машину купили уже на деньги общества. За оказание помощи денег не брали, только за перевозку, и то, если было, чем платить. Скорая помощь содержалась на пожертвования. Отец всем этим ведал, он был Председателем добровольной общины Скорой помощи.

Домашний кабинет включал операционную, лабораторию, физиотерапию. По сути это была небольшая частная клиника. Отец в день принимал до семидесяти больных. Запись велась на неделю вперед. Своими силами доктор постоянно выезжал в села, за 10-20 километров. Отказа не было никогда и никому, причем многие случаи были исключительные. Аппендицит оперировал на дому, роды принимал. Кучер (он же дворник) запрягал, специальный экипаж (зимой – сани) всегда был наготове, и они ехали. В поездки отправлялись исключительно на лошадях, за городом была непроезжая грязь. Как-то отец выехал на трудные роды и застрял из-за пурги на три дня. Мать с ума сходила.

Когда советские войска входили в город в 40-м году, в городской тюрьме началась перестрелка с отходившей полицией и охраной, освобождались арестованные коммунисты. Все это недалеко от дома Гольдфрухтов – и лицей, где учился Фриц, и городская тюрьма, выстроенная еще в восемнадцатом веке. Гольдфрухты потом в этой тюрьме побывали. А тогда были раненые из числа заключенных. Все кругом было закрыто, врачи разбежались. Раненых принесли к отцу, он их дома оперировал.

Отец был предан медицине и полностью посвящал себя работе. Вставал в шесть. Принимал душ, одевался, и шёл в кабинет. Выписывал журнал для практических врачей «Art medisin» («Искусство врачевания»), издавался ежемесячно в Вене. Он читал его постоянно, как и массу другой литературы. Сам писал в «Art medisin». В восемь утра брился, завтракал. Завтрак был стандартный (отец был диабетиком): кружка кофе с молоком и сахарином, булочка. Ровно в десять начинал приём.

Первых блюд отец не ел, только вторые, и немного. После обеда уходил к себе, засыпал сидя, с газетой в руках. Спал двадцать минут. Можно было часы проверять. Споласкивал лицо, возвращался в кабинет и работал до вечера. Ровно в одиннадцать отправлялся спать. Исключений – ни для своих, ни для гостей не было. Ровно в одиннадцать.

При нем всегда была сумка с медицинским инструментом и необходимыми на первый случай лекарствами. Когда Гольдфрухты пытались перейти границу, сумка была при нем. Вместе с ним попала в лагерь. В лагере инструменты отобрали, но самого Гольдфрухта назначили врачом. В этой должности он пробыл три дня. Потребовал, чтобы с ними обращались как с военнопленными, по *Международной конвенции*. Действительно, в их черновицком потоке были бывшие военные, был даже престарелый генерал австрийской армии. Умер отец в лагере в начале 1942 года, почти одновременно с матерью. Об их смерти сын узнал много позже, лагеря были разные.

Несчастливая судьба. Сестру звали Хильдегард. Вообще, в доме все было немецкое, и родной язык – немецкий, и детские имена. Здешние евреи считали себя австрийцами. Бабушка говорила на идиш, а детям запрещали. Отец лет за десять и с большим трудом выучился румынскому, а в доме говорили по-немецки.

Хильдегард была на восемнадцать лет старше брата, в детстве Фриц ее помнил мало. В 24 году она закончила немецкое отделение Пражского университета и вернулась в Черновцы с дипломом фармацевта. Отец арендовал для неё аптеку у некоего аптекаря Стофа, когда тот умер, у его вдовы.

В 25-м году в доме начались большие волнения. Хильдегард готовилась выйти замуж. Женихом был Эммануил (Имре) Кимельман – богатый помещик, владелец полутора тысяч гектаров земли неподалеку от города. Высокий, представительный, сестра была влюблена без памяти, счастлива. Накануне свадьбы, буквально за день, Имре устроил что-то вроде прощания с холостяцкой жизнью. Он был хорошим наездником, сел на любимую лошадь, как и что случилось дальше – неизвестно. Упал с лошади, сломал шею и умер на месте. Вместо свадьбы (день в день) были похороны. Для сестры был страшнейший удар, у нее началась астма. При-

ступы были очень тяжелые, буквально, спасали от смерти. Хорошо, что отец был рядом. Ездил в Вену на лечение. Сестра мало чем интересовалась, жила как улитка в раковине.

Но бывали светлые дни. Тогда она садилась за рояль, Фриц брал скрипку (его учили с шести лет), и дети играли для отца. Для него это было счастьем. Отец любил Мендельсона, Гайдна, регулярно бывал в концертах.

В сороковом году Хильдегард вместе со всей семьей была арестована. Последующие несколько лет провела в лагере, мать на ее руках умерла. Удивительно, но астма ее почти оставила. Из лагеря сестру перевели в Казань на химический завод, там она проработала до конца ссылки. Советского гражданства не получала и в сорок седьмом ее отправили в Румынию. Поезд больше часа стоял в Черновцах, она боялась отойти от вагона, узнала у кого-то из местных, что брат здесь. Послала за ним мальчишку. Фридрих прибежал и увидел хвост уходящего поезда. Потом они встречались в Бухаресте, сестра много болела. Фридрих нелегально переходил границу, пытался вывезти ее в Израиль. Не удалось. Умерла сестра в Бухаресте одинокой.

Место для жизни. У Гольдфрухтов было восемь домов. Все они сдавались под жилье и приносили доход. А семейная резиденция была по адресу Ратауштрассе 27 (улица Ратушная), румыны переименовали – в улицу Королевы Марии. Дом был одним из самых заметных в Черновцах. В последние десятилетия там была лучшая черновицкая школа, Софья Ротару там училась. Дом построили в начале века, но семья долгие годы в нем не жила. При австрийцах, с началом войны в доме был штаб и офицерское общежитие. Потом, с восемнадцатого года здание реквизировали румыны и также под военные нужды (время штабов, как увидим, и дальше не переводилось). Во дворе дома были конюшни, отец держал там лошадей. В свой дом Гольдфрухты въехали только в тридцатом году.

Послевоенное десятилетие (имеется в виду первая мировая война) семья Гольдфрухтов прожила по адресу Ратауштрассе 22, как раз напротив собственного дома. Они снимали квартиру у липо-ван. Липоване – русские староверы. Богатая община – липоване сами жили за городом, имели сады, знаменитые квашеные яблоки так и назывались в Черновцах – *липованскими*.

Город делился на верхнюю и нижнюю части. Верхняя была более богатой, но бедняков хватало и там. Под Гольдфрухтами (на Ратауштрассе 22) в глубоком подвале жила немецкая семья. Отец – инвалид войны, пьяница без ноги и глаза, мать – прачка, звали Марией, тяжело работала за всю семью. Двое детей – Фердинанд и Адольф. Фердинанд рано умер от туберкулеза, а Адольф на два года старше Фридриха был его лучшим другом. Первые уроки уличного воспитания Фридрих получил от него. За проститутками подглядывали, Адольф объяснил суть профессии. Неподалеку был памятник австрийской императрице Марии Терезии. Румыны его взорвали, но не торопились вывозить обломки. Мальчишки искали клад, каждый вечер ходили в развалины, копались под постаментом. В магазины забирались, на винный склад. Первую бутылку шампанского Фридрих распил с приятелем в подъезде. Адольф уже ухаживал за девочками – горничными Гольдфрухтов. Горничные были молоденькие немки. Немецкая прислуга считалась в городе лучшей – работающей, честной и чистоплотной. И повараха была немка, замечательно готовила. В тридцатых годах немцы стали выезжать в Германию, в Фатерланд. Гитлер сплывал немецкий народ. И Адольф с матерью уехали. После войны, в пятидесятых годах, когда Гольдфрухт уже жил в Киеве, ему передали, друг Дольфи (Адольф) приезжал в Черновцы, искал его. Спрашивал, чем помочь. Они так и не встретились. Международная переписка в те годы не поощрялась.

Черновцы был особый город. Сколько румыны не старались сделать его румынским, получалось у них слабо. Улицы переименовали, австрийские памятники снесли, взялись за городской театр. Театр был уменьшенной копией Венской оперы. При австрийцах перед театром стоял бюст Шиллера, спектакли шли на немецком. При румынах бюст Шиллера убрали,

театру присвоили имя Василе Александри – румынского писателя. Бюст сменили, но и это время прошло. Теперь (при недавней советской власти и поныне) театр стал *имени Ольги Кобылянской*, писательница восседает на месте низвергнутых немца и румына. Площадь перед театром называлась при австрийцах Фишплац – Рыбная площадь, здесь всегда проводились ярмарки. Румыны разбили сквер, все павильоны и ларьки убрали. В том же виде площадь у ног Кобылянской сохраняется и поныне.

Но сделать с городом что-то более основательное не получилось (и это большая удача, как и то, что город не разнесли во время войны). Достаточно сказать, что и при румынах в городе сохранялось очень почтительное отношение к Францу Иосифу. Во многих домах висели портреты императора (у Гольдфрухтов портрета не было). Особо его почитали карпатские горцы – гуцулы, они еще долго красовались в красных австрийских штанах и пользовались, чуть ли не до прихода советской власти, австрийскими деньгами. Франц Иосиф поощрял их вольности и многим дал дворянские звания (хоть читать умели далеко не все). Вообще, на примере Черновцов имперскую политику следует признать на редкость мудрой. Город представлял смешение самых разных национальностей, евреев – чуть не сорок процентов, украинцев – двадцать, остальные – румыны, австрийцы, немцы, поляки, венгры, цыгане. Межнациональных столкновений не было в помине, город являл поучительный пример терпимости. Каждая национальность имела свой Дом (землячество) – австрийский, польский, еврейский, румынский, украинский. У каждой национальности по одному, а у евреев – целых три.

Когда Фрицу было девять лет, его отправили в Вену. В Вене жила родная сестра матери – доктор Эрна Фридман. Для Фрица это было первое самостоятельное путешествие. Вторым классом, сидячие места, восемь человек, ночью не поспишь. В общем, ребенку не понравилось. Зато запомнился автомат в центре Вены. Бросает пфенинг – получаешь бутерброд или шоколадку. Внутри сидел человек, но с фасада все выглядело загадочно и впечатляюще. Фриц долго стоял, не мог отойти.

Среди городов бывшей империи Черновцы были очень похожи на Вену. Прага, Будапешт были другими. Потом Фриц много раз бывал в Вене, и на выходе из вокзала у него всегда появлялось впечатление, что он дома. В Румынии Черновцы считались культурным городом, не хуже Бухареста. На сто двадцать тысяч населения здесь приходилось шестьсот врачей и тысяча адвокатов.

Церквей хватало – католическая, евангелическая, православные. Центральную синагогу немцы взорвали. Было две масонские ложи: французская (международная) – *фратерните*, и еврейская – *бней брит*. Отец Фридриха состоял во французской. Среди масонов особо почиталась книга *Соединенные Штаты Европы*, 1860 года издания. Люди верили в здравый смысл и торжество идеалов.

Немного об образовании. Фриц был способный мальчик, в четыре года уже умел писать и читать. Начальную школу не посещал. Занимался дома с учителями, в школу ходил на экзамены. Отец считал, так Фриц успеет больше. Дома его учили играть на скрипке, регулярно – несколько лет, не менее часа в день. Отец купил сыну скрипку, в доме был настоящий Страдивари. С каким-то существенным дефектом, но настоящий.

Начальную школу Фридрих закончил за два года вместо четырех и в девять лет пошел в лицей. В городе было несколько лицеев, у евреев свой, у поляков, у румын. Но язык преподавания везде один: государственный – румынский, немецкий – почти на равных. Вообще, разделение на землячество проходило сквозь все возрастные группы. Соперничество не носило характер антагонизма и проявлялось, в основном, в спорте. Спортивные состязания шли непрерывно.

В аттестате значились двадцать пять предметов. Даже психология и философия. Экзамены Фриц сдавал легко. Власть относилась придирчиво к изучению румынской литературы и истории. Румынскую поэзию он помнил всю жизнь.

Семья не была набожной, но Пасху и Новый год отмечали обязательно. Три раза в неделю приходил учитель и обучал Фрица ивриту. Сначала писать, потом читать, потом разговаривать. Именно в такой последовательности. Интенсивность подготовки возрастала по мере приближения к бармицве. Фриц и сам хотел поскорее стать настоящим мужчиной, поэтому готовился прилежно. Двадцатиминутную речь, которую произнес в синагоге, до сих пор помнит. Какой это был восторг – стать мужчиной.

Обучение в лицее было платное, но детям из бедных семей помогала община. Она же отсылала способных подростков дальше на учебу. Был специальный комитет, заседали открыто, публично рассматривали дела будущих стипендиатов. Отец обязательно присутствовал по праву одного из щедрых спонсоров. Никаких функций в комитете он не выполнял, не голосовал, но, естественно, проявлял заинтересованность. Он выплачивал пять стипендий. Имена жертвователей не разглашались. Таково было строгое правило, добро должно быть анонимным.

Особо спонсорская поддержка касалась обучения медицине. В Черновцах тогда не было медицинского факультета. Был теологический (православный при румынах), философский, юридический, а медицинского не было. Кто хотел стать врачом, должен был ехать в Яссы, Бухарест или в Клуш. Но и там было строго, румыны ввели квоту для малых национальностей, потому ехали за границу, больше в Италию, в Бари. Румынский язык схож с итальянским, так что учиться было не трудно.

Вот одна история. Был такой Танненбаум. Мать бедствовала. От первого брака у нее был еще один сын. Жили в подвале. Мать зарабатывала чисткой грецких орехов для лоточников. Мальчики кололи эти орехи. Фриц с Танненбаумом дружил, отец понаблюдал со стороны и распорядился, приглашать Танненбаума два раза в неделю на обед. В течение нескольких лет Танненбаум у них столовался. Потом его отправили за общественный счет учиться в Бари на врача. Много позже, после войны Фриц встретил Танненбаума в Бухаресте. Тот был преуспевающим врачом и самоуверенным красавцем. Пользовался успехом у женщин. И одна из ревнивиц красавца Танненбаума отравила.

Комментарий. При взгляде на судьбу нашего героя, удивляет частота ее соприкосновения с историческими персонажами и событиями той эпохи, которая, как кажется, давно отошла в область преданий. Причем вовлеченность все более нарастающую по интенсивности, пока эта история не накрыла его с головой, как шторм терпящего бедствие моряка, чтобы выбросить полуживого на незнакомый берег. Это не столь невероятно, как может показаться, если учесть, что границы тогда были другими, Европа буквально кипела страстями, наш герой постоянно передвигался, а двигаться в такое время (двигаться, а не бежать), это тоже испытывать судьбу.

Поездка в Италию. В Вене жила тетка Эрна – сестра матери. Эрна была богатой женщиной и обожала разъезжать. Это она нашла Риччионе – гогдышнюю рыбацкую деревню в Италии недалеко от Римини, с огромным пляжем. Там Фриц с матерью и теткой провел несколько летних каникул. Заезжали для покупок на Ривьеру, посещали Венецию, Триест, но основное время проводили в Риччионе. Жили в гостинице – четырехэтажном доме, владеющем куском пляжа. Лодка, персональный навес от солнца, кабинка для переодевания. Питались при гостинице. Здоровый буржуазный отдых, Фриц запомнил себя там девятилетним. Вот любопытное впечатление. Сидят мама, тетя, еще две женщины из Австрии – подруги тети и девочка по прозвищу Мимоза. Фриц возится около воды, строит замок. Неподдалеку шумно веселится компания итальянцев, пьет вино. Вдруг один из гуляк срывается с места (запомнился он так – креп-

кий, не очень высокий, бритый наголо), хватает Фрица, забрасывает себе на плечи и с криком – Бамбино итальяно. Каро мио, влетает в воду. Сбрасывает там мальчика, ныряет с головой. Фриц – ребенок самостоятельный, обиделся страшно. Еще не умел плавать, нахлебался воды, но проявил характер, жаловаться не стал. А подруги матери, которые наблюдали со стороны, неодобрительно разъяснили. – Это Муссолини развлекается.

У Бенито в Риччионе жила любовница, приехал с друзьями погулять, машины стояли наверху на шоссе. Фриц попался под руки расшалившемуся дуче. Тогда же Фриц совершенно неожиданно научился плавать. Забрался на металлическую вышку для прыжков в воду, улегся с самого края, задремал на солнце. Кто-то через него прыгнул, Фриц свалился с трехметровой высоты, забил руками по воде и поплыл.

Судьба тетки из Вены, забегая вперед, сложилась так. Она сменила австрийский паспорт на немецкий, имя – с Эрны на Елену, стала Бондарчук и благополучно пережила войну.

Провинциальное общество. Черновцы были исключительно спокойным городом, по ночам можно было гулять совершенно безопасно. Много было домашних вечеринок. Расходились поздно. Никто никого не обижал. Город жил дружно, что-то на манер коммунальной квартиры, населенной здравомыслящими людьми. Свои театры. Еврейский, румынский, немецкий, каждая народность имела свой театр.

Ко времени первых воспоминаний Фрица, румыны правили уже несколько лет, но переиначить городские нравы так и не смогли. Город жил памятью об ушедшей Австро-Венгрии. Говорили много на немецком. Правда, румыны заявляли о себе, ходили по городу с факелами, как немцы в Германии. Колонной по двести, триста человек, пели, кричали. Зрелище было скорее театральное, агрессия не слишком ощущалась. Заразить город своим настроем им не удалось. В Черновцах был депутат от Буковины, государственная должность, что-то вроде министерской. Фамилия депутата была Робу. Робу был румынский националист, свастике носил на рубашке. Как-то днем раздался звонок, Робу спрашивал отца. Хотел лечиться только у него. Разговаривали несколько часов. О национализме, других проблемах. Отец его обследовал, потом Робу часто обращался за помощью. Отец с него денег не брал.

Черновцы в течение столетий были известны как торговый город. Это был транзитный узел – от Одессы до Констанцы, с Черного моря и на север к Балтике – к немецким, а потом польским портам. Торговцы делали в Черновцах большие деньги. Черновицкие коммерсанты постоянно разъезжали. И не только по Европе, бывали в Северной и Южной Америке. Имели там связи. Даже с Японией общались. Все это в порядке вещей. Мир был пока открыт, такова тогдашняя европейская жизнь. В Черновцах почти не было заводов, несколько трикотажных фабрик. Была фабрика, которая делала железную посуду. И главное на то время – Буковина была очень богата лесом. Здесь рос лучший лес для изготовления мебели, для музыкальных инструментов. В Родауце, была одна из лучших мебельных фабрик во всей Европе, какой-то немец хозяйничал.

Известность приобрел поляк Подзудек. У того был домик на окраине города. Подзудек начал с того, что скупал по окрестным селам свиней и делал колбасу. Дело шло хорошо, Подзудек взял помощников и открыл цех по производству колбас. Отличная ветчина, бекон, Подзудек имел специальный рецепт (теперь бы его назвали технологией) для откорма свиней. Он делал отличное салями на манер известного венгерского. Колбасы так и назывались *салями Подзудека*. В Черновцах были два магазина Подзудека, потом такие же появились в Бухаресте, в Вене, в других городах Европы. Фриц своими глазами видел такой магазин в Лилле. В Париже был такой же. К старости Подзудек все измерял на свинину, это была его валюта. Два килограмма свинины, пять килограмм, так он считал. Большой грамотностью старик не отличался. В тридцатые годы началась компания по переселению. Особенно старались немцы – переселять в Германию. На месте, в Черновцах специальная комиссия оценивала имущество,

в Рейхе выдавали компенсацию. Ехали больше бедняки, но компания проводилась активно. И поляки затеяли нечто подобное. Сыновья Подзудека решили переезжать. Старого Подзудека переселили почти насильно, он не хотел ехать.

Жулики в Черновцах, конечно, существовали, но в небольшом количестве. Случаев краж, воровства было немного, а убийство считалось преступлением почти неслыханным. Как-то убили проститутку. Она исчезла, вышла вечером на промысел и пропала. Женщину искали, по городу поползли слухи. Народ заволновался. Город, изнемогавший от провинциальной скуки, оживился, событие намечалось в духе Джека Потрошителя. На одиноких мужчин стали поглядывать с подозрением. У маленького Фрица был преподаватель, студент. Именно такой, одинокий. Студент не умел бриться. Фриц глядел на следы порезов (на шее) со сладким ужасом, но своими сомнениями ни с кем не поделился. Начальник полиции как раз в те дни обедал у Гольдфрухтов, показывал фотографию женщины, жаловался, что не могут найти. Потом обнаружили за Прутом женский труп. Убила ее банда из Поречья – черновицкого пригорода. Полиция их окружила, два часа перестреливались, взяли всех. Начальник полиции остался при Советах. Политикой он не занимался, а профессионал был, видно, хороший, город держал под контролем. Считал, что в таком качестве может быть полезен любой власти. Его быстро арестовали, и исчез он бесследно.

Как уже упоминалось, при австрийцах был порядок покупки дворянства за деньги. Это придавало своеобразный шик местному обществу, знатность в Черновцах тесно сосуществовала с богатством. Был граф Ормузаки. Украинец. Был доктор Анхаук. Имел дворянское рыцарское звание. Мог называться фон Анхаук. Австрийцы раздали немало титулов гуцулам. Гуцулы жили в горах и не признавали никого, кроме австрийцев. Уже больше десяти лет румыны были при власти, а у гуцулов все еще ходили австрийские деньги. Румынская власть с гуцулами благоразумно не связывалась, они и в армии румынской не служили, налогов не платили. Когда повзрослевший Фриц (уже в звании молодого офицера) отправился в горы на машине, отец предупредил, не заводить шашней с гуцулками. У многих были венерические болезни, с лечением там было плохо.

Официальные праздники в Черновцах были румынские. Десятого мая, двадцать четвертого ноября. Первого мая отмечали День труда. Была разрешена социалистическая партия. Руководил социалистами еврей Вайсман. Владел типографией, издавал газету *Форвертс*. Собирал Первого мая единомышленников, шел с красным флагом по улицам, заметный сверху с балкона Гольдфрухтов по большой лысине. Никто его не трогал, все знали, идет Вайсман – борец за права трудящихся. Соратники Вайсмана встречали Советскую власть радостно, но для многих таких, воодушевленных и для самого Вайсмана радость оказалась недолгой. Его быстро арестовали.

Сутенеры разделили Черновцы в соответствии с географией – на верхнюю и на нижнюю части города. Вверху управлялся Романюк, внизу – Гуменюк. Профессия большим уважением не пользовалась, но и осуждения не вызывала. Люди, как могли, зарабатывали на жизнь. Советы только осмотрелись, всех забрали – проституток, воров, всех. Фриц сидел с ними в тюрьме – с Романюком и Гуменюком. Гуменюк был сравнительно пожилой, в лагере быстро умер, а Романюк держался долго. Это был красавец под два метра. Арестовали его в красивом темно-синем костюме в полоску. Костюм он очень берег, рассчитывал после освобождения погулять. Даже в камере, в условиях очень трудных поддерживал у костюма приличный вид. Вообще, эти люди были поражены арестом, они считали себя вполне уважаемыми членами общества. В лагере Романюк пристроился на хорошую работу, был бригадиром. Ходил в этом *хорошем* костюме. Умер в лагере.

Была танцевальная школа. Их было несколько, но Фриц посещал школу мадам Моргенштерн, бывшей балерины. Танго, вальсы, чарльстон, полный курс за два месяца. Набирали поровну девочек, мальчиков. Молодежь из хороших семей алкоголем не злоупотребляла. Пили

чаще пиво, вино. С девочками отношения были невинные, ходили в кино, в театр, целовались. Но юноши посещали публичные дома. Большинство домов были на окраине, на Еврейской, Галичанской – это уже в предместье. Заходили компаниями, когда гуляли. Считалось хорошим тоном (и спокойнее для здоровья) иметь свою девочку. У Фрица была такая, лет двадцати шести, всегда с удовольствием его принимала.

Журналисты составляли небольшую, но процветающую касту. Много писали за деньги, не гнушались шантажом. Был судебный репортер Вайсблат, вел в газетах судебную хронику и имел особый нюх на грязные истории. Шел с утра в суд, выбирал *дело* поинтереснее. Суд был там, где теперь здание Облисполкома. Особенно Вайсблат любил дела о разводах среди местных богачей. Семейное белье выворачивалось наизнанку. Вайсблат слушал, внимательно записывал (чем грязнее, тем лучше), подходил к заинтересованным лицам. Вот, готовлю большую статью... Люди читали, узнавали себя, хватались за голову. Как замять? Сколько будет стоить? И улаживали за деньги.

Был Гербель. Красавец. Журналист. Увлекался конным спортом. Гербель уговорил генерала – командира кавалерийского полка организовать пробег из Черновцов в Париж. Это примерно в тридцать пятом году. Его провожали с центральной городской площади, музыка играла. Гербель восседал на лошади, сзади выюк, настоящая экспедиция. И доехал до Парижа.

Был Йозеф Шмидт. Это была гордость Черновцов. Один из лучших теноров Европы, наследник Карузо (так значилось в афишах). Шмидт жил в Черновцах, у отца в городе был какой-то магазин. Шмидт был маленького роста, почти карлик. Метр сорок, максимум – метр пятьдесят. Очень некрасив. Рот широкий, как у лягушки. Это была романтическая легенда в духе *Собора Парижской Богоматери*. Пластинки продавались по всей Европе, но на сцену он не мог выйти. Пел из-за кулис. Как-то раз его выпустили, публика начала свистеть. Талант Шмидта использовали для музыкальной рекламы. С девушкой было одно горе. То есть, была любовь, но девушка не могла с ним показаться. Черновцы – небольшой город. Шмидт был еврей, она – еврейка. И все равно... Разбитое сердце... Специально для него немецкий композитор написал песню. Шлягер, который обошел мир, приблизительно такого же содержания. Песня облетает весь мир. Шмидт успел сбежать в Швейцарию, умер уже после войны, где-то в пятидесятом году. Как человек, он был несчастлив.

Как не вспомнить местного героя по имени Маркус. Маркус был первым жителем Черновцов, который получил права на вождение самолета. Нужно было ездить в Бухарест сдавать на *бrevet*. Бrevet – это права по румынски. Бrevet на вождение самолета. Когда в небе над Черновцами появлялся самолет, люди знали – это летит Маркус. Бензин стоил копейки, как вода. Говорили, Маркус в воздухе. В Черновцах было два моста – железнодорожный, и пешеходный. Третий мост – Южный был за городом. Маркус замерил расстояние. Дождлся, когда горяя река обмелела, и пролетел под пешеходным мостом.

Позже Фриц тоже получил права. У него были английские права. А самолет польский, фирмы Лот. Самолет был двухрусный, этажерка. Впереди летчик, сзади инструктор, все управление дублировано. Приборы впереди у летчика. За месяц обучения Фриц летал как бог. Он и в Кембридж ехал, поступать на самолетостроение, но англичане к этой профессии тогда (в предвоенное время) иностранцев не допускали. А летать, пожалуйста.

История Эсманских. Осталось детское воспоминание с точным упоминанием даты. Двадцать восьмой год, Фриц в третьем классе лицея. К матери часто приходила женщина – полная, не очень красивая, насколько мальчик мог судить. И очень грустная. Ходила постоянно в черном. Звали ее Соня Эсманская. Муж Сони был когда-то банкиром в Петербурге, а теперь в Черновцах – крупным сахарозаводчиком. Здесь у них был особняк на Трехсвятительской улице, рядом с университетом. Но там они почти не жили. С Соней приходила молодая очень красивая француженка. Они всегда появлялись вместе. Соня говорила по немецки с сильным

русским акцентом. Через семью Гольдфрухтов она хотела сблизиться с достаточно закрытым черновицким обществом. Мать всегда была Соне рада, они уединялись, кофе пили. Как-то летом, когда у Фрица были каникулы, мать объявила, они едут к Эсманским в гости. У Эсманских был большой сахарный завод в селе Зарожань, по дороге из Черновцов на Кишинев. Там же в нескольких километрах – огромный дом с колоннами и мраморными полами. За домом большое озеро. Отправились на двух машинах. Своя – Гольдфрухтов, вторую – открытое ландо дал полковник Ионеску – заместитель командира Второго егерского полка. Сопровождал дам майор Анастасиу из этого полка, веселый, бравый ловелас. Он ухаживал за француженкой, хоть тонкости отношений мальчик еще не понимал. Француженка много смеялась, но деликатно, в сторону, при Соне Эсманской было неловко веселиться, она была грустна. Приехали, погуляли у озера, сели обедать. К гостям вышел сам Эсманский – крупный мужчина с сильным грубоватым лицом. Он был личным банкиром русского царя. Не он один, но и он тоже. За обедом Анастасиу сидел рядом француженкой, они были взволнованы, у Анастасиу что-то падало, француженка раскраснелась. На ребенка за общим разговором никто внимания не обращал, Фриц заполз под стол, и увидел, майор хозяйничает у француженки под платьем. Так приходило постижение тайн пола.

У Эсманских случилась трагедия. В революцию они застряли в Петрограде, пока выбрались, по дорогам толпами бродили вооруженные дезертиры. Эсманские оделись очень просто, взяли лошадь с подводой и ехали, не привлекая особого внимания. В подводе был припрятан мешочек с бриллиантами, а выглядели они как обычные еврейские беженцы, у которых взять нечего. Во время войны в прифронтовой зоне таких было немало. Несколько раз их задерживали, обыскивали и отпускали. Где-то в Белоруссии остановились на постоялом дворе, в надежном, как казалось, месте, отошли на час – Эсманский с женой, купить еды. Вернулись, а дочери нет. Лошадь, подвода – все на месте. Дочь уже была зрелой девицей, лет восемнадцати. Исчезла. Никто ничего не видел. Они все обыскали, простояли несколько дней, не трогаясь с места. Потом приехали сюда. Во всех газетах, где только они ни выходили, в немецких, французских, английских, в газетах русской эмиграции, везде они регулярно давали объявления. Каждый год на протяжении десяти лет, и даже теперь – в двадцать восьмом. Сначала надеялись найти дочь, потом просто обращались, может быть, кто-то что-нибудь запомнил, обратил внимание. Пусть откликнутся, сообщат за вознаграждение. Дома у них лежали груды этих газет, сотни вырезок. Хоть какой-нибудь след. Ничего.

А мешок с бриллиантами оказался кстати. Эсманский уже из Черновцов наладил совместный бизнес с братом. Тот остался на Украине при большевиках, прикинулся мелким ремесленником, и вел дела с Эсманским, пока не сбежал и оказался тут же в Черновцах. Эсманский занялся сахаром. У него только здесь, под Черновцами было две тысячи гектаров сахарной свеклы. И завод. И в Южной Румынии завод. Было дело и в Германии, Эсманский часто туда навещался. Все это бедной Сони не касалось. До самого прихода Советов они жили в Черновцах. Дочку так и не нашли. Эсманский умер в Бухаресте, Соня Эсманская пережила войну и умерла там же.

Лицеисты. Первая черновицкая гимназия (лицей) была румынской, вторая – женская, третья – еврейская (там Фриц учился), четвертая – смешанная, украинско-немецкая. Были еще частные учебные заведения, была семинария, которую содержал православный митрополит. Был частный лицей Эммануила Григоровица.

В гимназии, где учился Фриц, среди учеников было немало сочувствующих коммунистам. Приходил полицейский инспектор центральной части города еврей Роттенберг с двумя полицейскими, командовал прямо в классе: выходи ты и ты. И забирал активистов. В гимназии училось немало приезжих из Бессарабии, жили на квартирах, народ в классе постоянно обновлялся. Как-то объявился крупный парень – переросток по фамилии Лернер. Фриц сидел за

первой партой, тот на второй, у Фрица за спиной. В разгар урока ворвался Роттенберг. Как твоя фамилия? Лернер. Еще переспросил: – Ты точно помнишь, что Лернер? Не иначе? Ребята, забирайте его... Лернера схватили, обыскали и увели. Он оказался видным коммунистическим подпольщиком, так лицеистам объяснили.

Студенческие нравы. В городе были студенческие общества (землячества), среди них несколько еврейских. Фриц состоял в Хасмонеи – самом престижном, среди членов были врачи, адвокаты, принимали далеко не всех. Хасмонеи – еврейские герои. Внутри были свои уровни. Самые молодые – фуксы, лисы. Потом бурши – мальчики, самые боевые по возрасту. После получения образования и испытаний достигалась высшая ступень Альтер Херр – Старый господин. Конкретных обязанностей здесь не было, кроме главной – оказывать финансовую поддержку обществу.

Среди евреев было немало поклонников Жаботинского, особенно после его посещения Черновцов. Но сильны были и социалисты – Бунд, в лидерах у бундовцев ходил некий Борохов. В Хасмонеи социалистов не любили. И полиция их не жаловала.

При землячествах были свои танцевальные классы, клубы, но вне связи с образованием. Учились не только в Румынии, многие – в Италии. Фриц состоял в Хасмонеи, когда учился в Кембридже.

Такие же землячества были у поляков, украинцев, немцев, каждое со своей резиденцией. Много было спортивных состязаний. В моде были дуэли между членами различных землячеств. Дрались, в основном, на саблях. Дуэли были категорически запрещены, но ответить на вызов считалось долгом чести. Первый раз Фриц дрался, еще будучи фуксом, с украинцем Сорокопуттом. Стрелялись из мелкокалиберных пистолетов. Поехали за город на велосипедах, стрелялись на тридцати метрах. Свой выстрел Фриц не помнит, ему самому пуля попала в предплечье. Приехал домой, пришел к отцу. Отец удалил пулю, а потом вклеил оплеуху. Единственный раз за всю жизнь.

На саблях Фриц дрался с доктором Рутенбергом – врачом скорой помощи. Ссора началась из-за пустяка. Поехали с подружками на машине, Фриц хотел порулить, Рутенберг не дал. Вернулись в Черновцы, Фриц послал к Рутенбергу секундантов – Танненбаума и Гиберзона. Гиберзон стал потом известным музыкантом. Подготовка лежала на секундантах – наточить сабли, найти пустой зал, расставить по углам кресла для секундантов. Смертельных исходов не было, но без ранений не обходилось, как-то дрались два немца, один другому чиркнул по глазам, тот ослеп. После этого дрались обязательно в фехтовальных масках. Члены землячества на дуэль надевали одну и ту же рубашку. Она была пропитана кровью, тяжелая, с запахом, так и называлась – *кровавая рубашка*. Ее никогда не стирали. С Рутенбергом дрались больше часа, и разошлись миром, без последствий. Обида за время поединка выдохлась. Это было в тридцать шестом году.

В тридцать седьмом была дуэль с лейтенантом, румыном. Фриц как раз собрался в армию добровольцем. В румынскую армию призывали с двадцати одного года, когда молодой человек получал гражданство. Но Фриц по физическим данным прошел в восемнадцать и мог, как доброволец, выбирать полк. В Черновцах стояло тогда много военных – пехота, артиллерия, кавалерия, пограничники, жандармы. Фриц выбрал артиллерию. Он еще зачислялся, а военные не могли между собой драться, иначе – трибунал. Но и так последствия могли быть серьезными, власти боролись с дуэлями всерьез. Ссора случилась из-за девушки. Фриц прогуливался с ней по центральной улице – раньше Хернгассе – Панской, а тогда – улице Янку Флондора – в честь первого румынского мэра города (теперь это улица Ольги Кобылянской). Фриц пользовался у женского пола большим успехом – богат, спортивен, красив. Лейтенант намеренно его задел. Правда, и девушка не терялась, строила глазки обоим. Мужчины решили выяснить отношения. Фриц дал свою визитную карточку – имя, фамилия, адрес, соперник – свою. Кресулеску – лей-

тенант кавалерии. Он и оружие выбрал, в кавалерии учили владеть саблей. Дрались за городом, на поляне, очертили квадрат, двадцать, на двадцать, помимо секундантов, обязательно присутствовал врач. Дрались долго. Фриц считает, что мог победить, были выигрышные моменты. Но тогда на военной карьере можно было ставить крест. Поэтому Фриц больше защищался, пока Кресулеску не зацепил его в подбородок. На всю жизнь шрам остался. С тем и разошлись, не определив победителя.

Учеба в Кембридже. После окончания лицея Фрица отправили в Кембридж. Конечно, отец хотел, чтобы сын продолжил семейную традицию и стал врачом. Но у Фрица был крепкий характер и страсть к технике. Он хотел заняться самолетами.

Первый раз – в тридцать третьем году Фриц ехал в Англию с матерью. В купе, после переезда через немецкую границу зашел господин. Хорошо одет, без багажа. Уселся, стал читать газету. Потом, обращаясь к матери, заговорил о новых немецких порядках. Все это с тяжелым вздохом, видно было, недоволен. Мать – умная женщина разговор на эту тему не поддержала, а сыну украдкой показала прижатый к губам палец. Мужчина сошел в Ахене. Провокации постоянно случались, хоть, кто знает, что за человек. Недоверие и растущий страх – это настроение ощущалось в тогдашней Европе. Впрочем, Фрица это тогда мало занимало.

В Англии сразу по приезде произошел смешной случай. От Дувра до Лондона Фриц добирался самостоятельно. В английских вагонах вход в купе был прямо с перрона. И на каждом надпись – для курящих или некурящих. Но и в купе для некурящих, если попутчики разрешат, можно было курить. Фриц втащил чемодан, уселся. Напротив расположился типичный джентельмен, в котелке. Только отъехали, обратился. Ду ю смок? Фриц курил, но, не понимая, что англичанин хочет, отвечал, но, но, но. В том смысле, чтобы англичанин чувствовал себя свободно. Тот улыбнулся и курить не стал. Через некоторое время Фриц по запаху понял, что в купе курят, достал папиросу. Англичанин рассмеялся, они без слов поняли друг друга.

На первых порах помог друг отца, профессор из университета в Йоркшире. Он встретил Фрица в Лондоне. Первые полгода Фриц провел в Галле, в местном университете. В Кембридж при полном незнании английского языка и обилии иностранных студентов ему было рано. В Галле было проще, и время прошло с пользой. Речь только английская, газеты английские, даже смех английский. Через два месяца Фриц и сам заговорил, а спустя полгода перешел в Кембридж. В Кембридже он провел три года. Получил студенческий паспорт на десять лет, постоянные визы – немецкую, польскую для проезда на каникулы. В Кембридже дали общежитие – двухкомнатную квартиру. Очень небольшую, но квартиру. Было немало иностранцев. Был немец. Фашист, свастику носил. Учился по обмену, англичанин в Германии, а этот здесь. Англичане на свастику тогда внимания еще не обращали. Первый месяц Фриц с немцем много общался, пока не освоился. И тот возле него держался. Потом они разошлись.

Фриц попал в Сент-Джон колледж. Колледжи были однотипные. Рядом был Кристи колледж, колледж Святой Марии. Каждый колледж имел своего попечителя. У Фрица был какой-то герцог, из середины королевской иерархии. Каждое попечительство имело свои преимущества, титул повыше обеспечивал престиж, пониже – более тщательную заботу о подопечных. Попечителю приходилось брать на себя некоторые расходы. Специальный человек ежедневно контролировал студенческое меню, проверял рыбу, мясо. Питание было отличным. Завтрак – в общежитии, ланч – по месту учебы, а ужин у каждого свой.

Купили Фрицу обязательную для студента экипировку. Сразу по приезде попросили рассказать о его родине – Румынии. Первую статью в журнал *Студент* Фриц писал по-немецки, ее перевели, он и дальше сотрудничал с этим журналом, но уже пользовался английским. К местным порядкам нужно было привыкнуть. После девяти вечера запрещалось появляться на улице, никаких баров, никакого пива. Для первокурсников правила соблюдались очень строго. За три года Фриц получил диплом бакалавра по специальности *механик*. Он мечтал быть

авиаинженером. Начальный курс – теоретический можно было пройти, проблема возникала с практикой. Туда иностранцев не допускали, англичане не хотели разглашать военные секреты. Фрицу вежливо отказали. Автомобили, пожалуйста, а в авиацию нельзя. Но по результатам обучения выдали, так называемые, гражданские права, АВС – на вождение мотоцикла, машины и спортивного самолета.

Рядом с колледжем Сент-Джона был, так называемый, *Русский дом*. Советское правительство купило его для Петра Капицы. На улочках Кембриджа Фриц встречал Капицу постоянно. У самого Фрица были очень интересные сокурсники. Он учился с будущим королем Египта Фаруком. На практике они работали в паре. Сначала принц был у Фрица молотобойцем, потом наоборот. Фаруку было лет 19-20. С собой он привез двух жен, двух секретарей, камердинера, слуг и охрану. Жены были совсем девочки. Фриц у Фа-рука бывал, жил Фарук, конечно, своим домом, не в общежитии. Дома у Фарука угощать было не принято, но съездить куда-то, погулять, это – пожалуйста. Фарук – толстяк, добрый малый, был человеком щедрым и открытым, любил пиво. С удовольствием ругался по-английски. Не избегал женского общества. С ним всегда был сопровождающий, важный господин, намного старше. Ни во что не вмешивался, просто наблюдал. В тридцать шестом году умер отец Фарука – король Египта. За Фаруком прислали, пришла его пора занимать престол. Фарук был очень огорчен, в Кембридже ему нравилось и возвращаться на родину даже в королевском обличьи не хотелось. Оставался год, чтобы закончить образование. На это Фарук упирал. Но пришло время исполнять монарший долг. Фарука увезли. На прощание они с Фрицем обнялись, будущий король оставил визитную карточку, сердечно приглашал. В Египте Фриц был бы у него дорогим гостем. Больше он Фарука не видел.

В их компании был племянник Салазара. Вернее, у самого племянника была компания, четыре-пять человек, которым племянник доверял. Фриц, откровенно говоря, его недолюбливал, хоть общаться приходилось постоянно. Надменный, дрянной парень. Бездельничал, не учился. У племянника была машина, похожа на советскую *Победу*, тогда это была новая модель. Гоняли в ней по барам. Племянник был основательным выпивохой, а пьянство строго наказывалось. По улицам Кембриджа ходили специальные патрули из преподавателей, задерживали выпивших студентов. Могли в пивную заглянуть. Наказывали серьезно. Поэтому племянник с приятелями уезжали подальше, в окрестные городки. Сюда не доставало бдительное око и можно было, как следует, выпить. Здесь Фриц был незаменим. К спиртному он был равнодушен, и исполнял полезнейшую в нетрезвой компании роль шофера.

Первый вопрос, который Фрицу задали в колледже – о спорте. Это была важная часть студенческой жизни, выдающимся спортсменам не нужно было платить за обучение. Дома Фриц занимался легкой атлетикой, показывал неплохие результаты, был чемпионом в Черновцах, призером на первенстве Румынии. В Кембридже он выступал за университет. Здесь почему-то не практиковали прыжков в высоту. А у Фрица был неплохой результат – метр девяносто два. Стометровку он бегал – двенадцать и четыре, мировой рекорд был тогда одиннадцать и три. Боксом Фрица буквально заставили заниматься, побили для начала. Драться Фриц не любил, но боксерские навыки ему потом пригодились. Авторитет он приобрел умением драться на саблях. Здесь в моде были французские рапиры, сабли были немецким оружием и сражались на них редко. Фриц пробудил местный интерес к саблям. И, конечно, гребля. Восьмерки. Главная команда – голубые, вторая, за которую постоянно выступал Фриц – белая майка с голубой полосой².

Вообще, Фриц был человеком легким, компанейским и приятелей у него было хоть отбавляй. Был друг из Персии, богатый человек, но с проблемами. У его отца было двенадцать жен, и

² Я видел вырезку из английской газеты: Чемпион Фриц толкает ядро. Видел гражданские права Фрица на вождение машины, мотоцикла и спортивного самолета.

всех он должен был содержать. Так отец объяснил финансовую обстановку в семье. Поэтому на сына оставалось не так много, перс даже своей машины не имел, для него это считалось бедностью. Но жил неплохо. У Фрица в то время уже был мотоцикл. Они гоняли на нем по окрестностям. Очень красивые места, такое осталось впечатление. Народ приветливый. Вокруг стояли воинские части, но всегда и везде можно было проехать. Совершенно свободно. На открытых воротах значилось: *Полк Его Величества*. И можешь заезжать. Вода нужна? Пожалуйста. А-а, перс, пожалуйста. А вы? Румын? Это где? В Африке? Фриц был смуглым, он хорошо загорал.

На последнем курсе Фриц подружился с Джорджем Элисом. Англичанином. Мать Джорджа, овдовев, вышла замуж за фабриканта, владельца огромной фабрики сантехники около Лидса. Несколько тысяч рабочих, ванны делали, трубы. На новогодние каникулы – две недели, Джордж пригласил Фрица к себе. Фабриканту было за восемьдесят, но выглядел молодо. Водил машину, носился по шоссе на максимальной скорости. Отправились осматривать какой-то замок на вершине горы, к замку вела узкая дорога. Две машины не могли разминуться, если внизу горит красный, значит, машина сверху съезжает. Поднимались к замку пешком, и фабрикант возмущался, зачем идти, если он мог легко проехать.

Женский пол представляли студентки. Очень милые девушки, крайне озабоченные учебой. Теперь это так вспоминается. Учеба для них – все. Много черных, цветных, среди них – очень красивые. Полагалось иметь знакомую студентку и вместе с ней появляться на балу. Бал давали раз в месяц. Как-то у Фрица была красивая дама. Смуглая, кажется, испанка. Англичане говорили: – Ого, какую Фред нашел себе партнершу (они иногда называли его Фредом, на свой манер). Девушка великолепно танцевала, говорила с акцентом, еще большим, чем у Фрица. Платоническая любовь. Потом была англичанка, дочь зубного врача. Звонила часто, даже ночью. Но тут Фриц остался равнодушен.

Спустя год пребывания в Англии Фриц стал участвовать в мотоциклетных гонках. Разные заводы устраивали гонки с целью рекламы. Платили хорошо. Заводы *Роч*, *Нортон*, *Нью империал*. Около побережья Англии был какой-то остров. Улицы шли волной, вверх-вниз. Транспорта на острове почти не было, и там по субботам постоянно проводили гонки. Сначала Фриц выступал за *Роч*. Нужно было регистрировать машину в полиции. Полисмен вышел вместе с ним, поглядел на вождение. Фриц дисциплинированно выполнял все команды – повороты, круги и с первого раза сдал на право участвовать в гонках.

Полиция была вежлива, но правила лучше было не нарушать и тем более не попадаться. Иначе неприятности гарантированы. Фриц как-то выехал буквально на рассвете, улицы совершенно пустые, и дал по городу миль шестьдесят. Это больше, чем разрешалось. Но как он мог на гоночном мотоцикле, который давал двести километров, ехать медленнее? И тут же догнала его какая-то коробка, в жизни не подумаешь, что машина, а на ней – авиационный мотор. Специально, чтобы урезонивать лихачей. Вышли двое. В штатском. Документы не спрашивали, а сразу: видели, что написано? Почему нарушаете? Гонок вам мало? Вот бумага, завтра пожалуйста в суд. Пришлось идти. Судья в мантии возносился над залом, нарушителя поставили внизу, бумагу поднесли судье. С Фрицем оп разговаривать не стал. Глянул и объявил. Один фунт. Это было довольно много. Отец посылал пятнадцать фунтов в месяц на карманные расходы. Фриц пошел в кассу, на бумагу поставили штамп, уплачено. Права не отбирали. Судья предупредил, второй раз он так легко не отделается.

Потом Фриц гонял за *Нортон*. Там была великолепная машина. Он выиграл две гонки и ему дали сразу пятьдесят фунтов премии. Вообще, за победу давали по десять. Это были большие деньги. Фриц купил себе автомобиль. Машину нужно было целый день ладить, регулировать. Но Фрицу это нравилось, как раз по его специальности. К середине второго года учебы Фриц переехал в квартиру побольше, он мог себе это позволить.

Поездка через рейх. Был случай. Фриц ездил каждый год домой на каникулы. Возвращался в Англию. Как-то отец говорит, у нас тут коллега-врач недавно объявился. Его мать – престарелая еврейка из Бельгии. Едет к себе. Соображает плохо. Ты ее довези. Дает Фрицу ее документы на проезд через границы, а там: румынско-польская, польско-немецкая и немецко-бельгийская. Правда, поезд прямой до Брюсселя, потому трудностей быть не должно. И тут же, на несчастье Фрица, вручают ему ящик винограда. Родной брат отца Соломон Гольдфрухт (дядя Сало, рассказ о нем впереди) живет во Львове. В Черновцах винограда полно, во Львове куда меньше. Фриц садится со своим багажом, со старухой и виноградом. Приезжают на рассвете во Львов, дяди Сало нет. Почему, неизвестно. Фриц мечется возле вагона. Кондуктор успокаивает, не важно, в Кракове стоянка двадцать минут, почта рядом, оттуда можно отправить. Приезжают в Краков, Фриц бежит на почту, отправляет второпях виноград. А поезд опаздывал и сократил стоянку. Фриц только хвост увидел. Все документы, в том числе, на старуху, остались у Фрица. Он бросился к начальнику вокзала, тот отнесся с пониманием, посадил в следующий поезд, а сам обещал дать телеграмму, чтобы вещи и старуху сняли на границе. Приезжает Фриц в приграничный город, старухи нет, проехала дальше прямо на контрольный пункт. До него отсюда тридцать километров. Что делать? Просит таксистов, подвезти. Куда пан едет? Тут Фриц сглупил. В Англию. Ага, значит, в Англию. Англичане считались у поляков богатыми людьми. Десять фунтов. Меньше, не едем. В Англии на десять фунтов месяц можно жить, грабеж страшный. Этому таксисту, что десять, что двадцать, назвал первую цифру. Но что делать, поехали. Только отъехали, военный поперек дороги. Маневры. Свернули, проехали через какое-то село. Еле добрались. У Фрица, кроме фунтов, было десять шиллингов. Он таксисту их сунул. Тот, видно, первый раз английские деньги видел. Решил, что фунты, уехал счастливый. Прибегает Фриц на станцию. Вот она – граница, красный канат натянут. Старухи нет. У Фрица ни вещей, ничего, все в поезде. Поляки осмотрели, визы в порядке, пропустили. Бежит Фриц через туннель на немецкую сторону. Немец. Стой. Документы проверил. Раздевайся. Раздел догола, всю одежду перещупал. Фриц, действительно, выглядел подозрительно, запыхавшийся, с пустыми руками. И студенческая виза на десять лет вперед. Поднимается на перрон с немецкой стороны, сидит старуха на вещах. Поляки ее как-то выпустили без документов, а немцы ссадили. Старуха ничего объяснить не могла, Фриц и не спрашивал. После войны, когда он вернулся на несколько лет в Черновцы, ему кто-то сказал, что тот врач, который старуху отправлял, оказался чей-то шпион. Скорее всего, немецкий. Возможно, что-то в багаже перевозили. Другого объяснения Фриц до сих пор не придумал, хоть и это удовлетворительным не назовешь. Вообще, предвоенная Европа была заражена шпиономанией. Это был социальный невроз, дурное предчувствие, которое грозило вот-вот сбыться. Что и случилось.

Пока старуху ссаживали с поезда, чемоданчик с продуктами, собранный матерью Фрица, пропал, все остальное оказалось на месте. Их поезд давно ушел, и они отправились попутным до Кельна. Там пересадка. Фриц этим путем раньше не ездил, ждать пришлось три часа, билеты в кармане, старуху он оставил на вокзале, а сам пошел посмотреть Кельнский собор. Вышел на площадь перед собором, а тут сразу три машины. В первой шесть человек, за ним вторая – открытая. В открытой, сзади, справа от шофера – Гитлер. Невозможно не узнать. В замыкающей машине тоже охрана.

Фриц волновался, вдруг в Брюсселе старуху не встретят, неясно ведь, куда она делась, и ему придется с ней возиться, неведомо сколько. Но встретили две женщины – ее сестры. Счастливы были, не знали уже, что и подумать. Фрица уговаривали задержаться, погостить, заманчиво, конечно, но он поехал дальше. На следующий день занятия начинались, опаздывать не полагалось.

Три года Фриц ездил взад-вперед сквозь Германию. За это время рейх сильно изменился, пропаганда развернулась. На зданиях появилось много красно-черных флагов со свастикой. На всех магазинах, принадлежащих евреям, свастика и надпись: Здесь торгуют евреями. Вход только

евреям и собакам... Немцы туда не показывались. Когда Фриц проезжал в тридцать шестом году, эти надписи временно убрали. Приближались Олимпийские игры, немцы не хотели волновать мировую общественность.

Путешествие по Франции. Фриц с детства был заядлым велосипедистом, в Черновцах с велосипедом не расставался. Места там холмистые, вверх-вниз, и Фриц был великолепно натренирован. В Кембридже он велосипедом пользовался часто. Были как-то пасхальные каникулы. Три недели. И тут приятель сообщил, что подал заявку на участие в велосипедной гонке Тур де Франс. Пригласил присоединиться. У него много родственников во Франции, дяди живет в Лионе. Это была гонка для любителей, старт каждый день в девять часов, к вечеру добирались до финиша, отмечали время, утром – дальше. Фриц согласился. Добирались до Бордо паромом, паршивое было плавание. В Бискайском заливе вымотало все кишки. Поднялись по реке, спокойно, к документам никто не придирался. Приятели были в велосипедной форме, костюмы в чемоданах. А вот за велосипеды нужно было платить на тот случай, если они захотят их во Франции продать. Заплатили, получили бумагу, владелец велосипеда такой-то. Если будут велосипед из Франции вывозить, деньги вернут. Первый этап был Клермон-Флеран. Объехали Лион, Руан. Последний пункт – Париж. Приятель объявил перед Парижем, что дальше не поедет. Результат у него невысокий, надоело, ему хочется в Швейцарию. У него французский паспорт, свободное передвижение. Расстались, договорившись спустя три-четыре дня встретиться в Париже. Фриц проехал до конца, и по результатам гонки оказался шестым. Всего участвовало человек сто восемьдесят-двести. Встретили их в Париже очень хорошо, торжественно. Фриц пошел знакомиться с городом. Хорошее метро, в любую точку города можно попасть, если есть карта. А карту дают просто так. Поднялся на Нотр-Дам. Слышит, говорят по-румынски. Один – метра два ростом, другой – пониже. Большой – Миту, маленький – Гоча. Кто-то из них был чемпионом Европы по боксу, по-французски оба ни слова. Обрадовались Фрицу, тот мог объясниться, ходили вместе. Фриц на почте получил открытку с адресом. Встретил приятеля, тот раньше вернулся, скучал. Такой это был человек. У него в Париже – дядина квартира, машина, всем этим можно пользоваться. Пошли ужинать в китайский ресторан. Приятель там раньше бывал, повел показать. Для начала запомнился старый выбитый тротуар. Красный фонарь (именно, красный), китайка красивая в гардеробе, ресторан в подвале, простой, без излишеств, под стеной столики, на каждом – телефон. Музыка почти неслышно и непонятно откуда, китайская. Вдалеке неподвижная фигура, Фриц решил даже – из воска. Но, оказалась, фигура живая, поднесла каждому на подносе рюмку. Водка – рисовая, на закуску – рисовый хлеб и хвост поросенка, напичканный чем-то. Перца много. Потом вынесли толстенную книгу, на французском и китайском. Фриц даже не пытался заглянуть, приятель выбирал на свой вкус. Сначала был салат, вкусный, но какой-то подозрительный. Потом суп из черепахи. А на второе, то ли рагу, то еще ли что-то непонятное. Вино легкое французское и хлеб белый-белый, рисовый. Поели, приятель расплатился, французскому рабочему на две недели жизни хватило бы. Сели в такси и поехали в Шан-Зализе. В кинотеатр. *Огни большого города.* Премьера. Сам Чаплин фильм представлял. Вышел на сцену, говорил немного, публика аплодировала. А потом пошел фильм. Ну, что теперь скажешь? Тогдашнее впечатление, тем более, после ресторана неотчетливое. Фильм, как фильм. По дороге приятель спрашивает, ты знаешь хоть, что ты ел? Салат, знаешь? Это из кузнечиков. У Фрица внутри что-то нехорошо зашевелилось. Суп черепаховый. Правильно. А второе? Не знаешь. Это была змея. Не ядовитая. Их специально откармливают. Желудка у нее нет, ничего нет. Режут на куски, как колбасу, и жарят. В общем, Фрица стошнило. Провели в Париже несколько дней, поехали в Дюнкерк. Там – на паром. Приятель говорит, хочу устриц. А денег уже нет. Приятель говорит: – Давай квитанции на велосипед, рискнем. Берет ручку, цвет подходящий. В квитанции значится цифрами – сто франков. Он добавляет ноль – тысяча. Пришли на таможню.

Велосипеды с вами? С нами. Машины дорогие, гоночные, отличные. Выдали деньги, никто не проверял. Поели устриц, приятель купил какие-то книги, которые отобрали на английской таможне. Эротика, в Англии запрещено. По приезде обменяли оставшиеся франки на фунты и поехали довольные в университет. Фрицу было семнадцать лет.

Служба у короля. В тридцать седьмом году, по возвращении из Кембриджа Гольдфрухт пошел в армию. И мог, как доброволец, выбирать полк. Фриц выбрал артиллерию.

Как человека с образованием его послали на девять месяцев в офицерскую школу, в город Крайова. Там он познакомился с Чаушеску. Знакомство было шапочное, но на улице друг друга узнавали. Чаушеску был ровесником, тоже восемнадцатого года. Запомнился как простой хулиганистый парень. Как познакомились? Жили на квартирах, по двое. Идут с занятий домой, он догоняет – Квартиры не хотите? – Спасибо, у нас есть. – А с девочками?..

Как-то Гольдфрухт отправился в Бухарест по армейским делам. В форме ходил по городу, предполагал успеть на обед к тете. Тут к нему подошел майор, проверил документы и приказал следовать за ним. Дальше произошло нечто совсем неправдоподобное, но такие истории с этим молодым человеком случались, и нам остается верить ему на слово. Завели его в комендатуру, еще раз внимательно проверили документы, даже унесли их куда-то, приказали заполнить бумаги (биографию подробно), провели через медосмотр. Фриц сидел и ждал, не зная чего, пока, наконец, ему не сообщили, что он зачислен в королевскую гвардию. Гольдфрухт тогда выглядел молодцом – спортсмен, рост метр семьдесят два, вес семьдесят килограмм. В общем, стандарт, даже лучше.

Пока Гольдфрухт томился в инстанциях, переполошилась тетья. Племянник не пришел обедать. Тетья забегала по городу, по-румынски она толком не понимала (это была тетья, перебравшаяся из Вены), наконец, связалась с отцом. Отцу уже успели сообщить, он тетю успокоил. У отца были надежные связи. Начальник Генерального штаба румынской армии Цонеску был его другом со времен прошлой (то есть, Первой мировой) войны. Вообще то, он был Цонев, болгарин, но теперь в Румынии, в соответствии с национальной политикой, он стал Цонеску. Отец мог при необходимости повлиять на ситуацию (далее мы в этом убедимся), а пока волноваться не приходилось.

Гвардеец Гольдфрухт попал во дворец, в охрану короля. Неделя ушла на инструкции и ознакомление с особенностями дворцовой службы. Где, что, какие апартаменты, правила дворцового распорядка. Для мало-мальски образованного человека все было понятно, но люди в гвардии были разные, многих набирали из деревни. Размещали гвардейцев по два, три человека в комнате. Гольдфрухта поселили с неким Никулеску, который стал его товарищем. Забегая на годы вперед, скажем, что Гольдфрухта он крепко выручил. Но это при совсем других обстоятельствах. А пока Никулеску был молодым человеком из города Яссы, закончил к тому времени юридический факультет университета. Начальный гвардейский опыт у него уже был. Кормили гвардейцев с дворцовой кухни. Еврейское происхождение Гольдфрухта начальство пока не волновало (потом ситуация изменилась). В документах национальность не указывалась, на евреев смотрели сквозь пальцы, тем более что в отделении, где служил Гольдфрухт, больше их и не было. Тем не менее, национальная политика была, в гвардию старались не брать венгров, русских, рутенов (украинцев), болгарам не совсем доверяли.

Теперь несколько слов о королевской фамилии, с которой Гольдфрухт познакомился близко³. Одна из центральных улиц Черновцов, бывшая при австрийцах Ратушной, стала при румынах имени Королевы Марии, а соседняя, которая ведет к вокзалу – имени Короля Фердинанда, ее мужа. Король Фердинанд – племянник предыдущего короля Карола Первого умер еще появления Гольдфрухта во дворце. У Фердинанда и Марии было двое детей – Ка-рол и

³ Сведения о Королевской фамилии записаны исключительно со слов Фридриха Бернгардовича.

Николай. Вот этот Карол – Карол Второй и был нынешний король. Брат Николай был очень большой любитель выпить и особой роли в дворцовой политике не играл. Он был адмиралом румынского флота, который еще только предстояло создать.

Во дворце командовал Янку Флондор. Он приходился королю двоюродным дядей. Флондор был майордомом и правой королевской рукой. Сам король Карол был огромного роста, под два метра (так теперь вспоминается), рыжий. И умный. Его мать – вдовствующая королева Мария жила тут же во дворце. Очень милая заботливая женщина, занималась домом. Бывшая жена Карола приходилась сестрой греческому королю. Она жила у себя в Греции, то ли в официальном разводе, то ли по обоюдному согласию, потому что вынести амурные похождения короля для Ее Величества не было никакой возможности. Был еще сын Михай. Он и теперь является претендентом на румынский трон, если у народа появится большое желание. Тогда это был очень непослушный, шумный мальчишка. Летом, когда Михай уезжал к матери в Грецию, во дворце отдыхали, а потом начинался сумасшедший дом. Подросток мог сбежать из дворца, увести из гаража машину, мотаться по Бухаресту, устроить аварию. Очень невоспитанный мальчик, отец с матерью им не занимались, а придворная публика тем более. Друг Гольдфрухта Николеску ни о чем так не мечтал, как врезать принцу сапогом по заднице.

Во дворце было примерно двадцать (или двадцать пять) постов. Днем меньше, ночью больше. Все под номерами. Особое отношение было к посту семь (цифра может быть другой, теперь забылось), здесь опытные гвардейцы только перемигивались, а на вопрос новичков отвечали таинственно – сам увидишь. Но пока этот пост не отстоишь, настоящим гвардейцем не станешь. Караул днем – два часа, ночью – полтора. Во дворце можно стоять вольно, а снаружи, на улице, только по стойке смирно. Бухарест – жаркий город и наружный пост давался с трудом, тем более во всей блестящей амуниции, одна сабля сколько весит. Пот льет, головой нельзя пошевелить. Мимо ходят толпой, зеваки рассматривают, а тут даже с ноги на ногу не переступишь. На лошадях, было и такое, вообще, пытка. Лошадь тоже живая. Сапоги лаковые, из них, буквально, воду потом нужно выливать. На парадном входе охрана двойная – гвардейская и полицейская (сигуранца). Сигуранца ни во что не вмешивалась, молча вела наблюдение. После смены – личное время, хочешь – иди в душ, спи, играй, читай – твое время, а через четыре часа заступаешь вновь. В течение суток – два раза днем, два раза ночью. Такая караульная служба – примерно два раза в месяц. Румынская армия была по образцу наполеоновской. Звания такие же. Лейтенант, капитан, майор, никаких – младший, старший. У англичан можно было переступить с ноги на ногу, здесь – нет.

Была еще особенная служба – личная охрана короля. Король был гуляка и страшный бабник. Вечером таскался по кабаре и прочим злачным местам. Флондор его сопровождал, король мог куда-нибудь завезаться, приходилось быть начеку. Задача охраны: в отдалении следовать за королем. Одежда гражданская, для такого случая имелись костюмы, достаточно модные. Выходили с черного хода, пешком, хотя, конечно, во дворце было полно машин. Во избежание слухов, королевские похождения должны были оставаться в тайне, монарху в демократический век приходится думать о репутации. Пока король развлекался, охрана устраивалась за столиком поодаль. Выдавали немного денег, что-нибудь заказать. Конечно, завсегда и Его Величество узнавали и относились с подобающим почтением, позволяя для вида оставаться инкогнито. И гвардейцев, конечно, знали. Но все равно расслабляться было нельзя, король мог разгуляться не на шутку. Когда монарх возвращался во дворец, и весьма часто не один, сопровождающие вздыхали с облегчением. Можно твердо сказать, подданные слабого пола своего короля любили, и старались, как только могли, доказать преданность. Кроме того, это был, действительно, здоровенный привлекательный мужик. Среди гвардейцев ходили легенды о размерах мужских достоинств короля.

Седьмой пост был возле королевской опочивальни. Что внутри, гвардейцев ни при каких обстоятельствах не касалось. Но тамошняя жизнь часто выплескивалась наружу. Опытные

люди посоветовали новичку взять платок побольше, а на вопрос Гольдфрухта – зачем? – отвечали загадочно: будет, чем утереться.

В полукруглой приемной – большие часы. Там диванчик, тут диванчик, столики, стулья. Встали с Никулеску в караул возле дверей королевских апартаментов, откуда доносился шум, музыка, женский хохот, визг, в общем, ощущалось присутствие веселящихся дам. Никулеску – у него уже был опыт, скосил глаз и предупредил. Готовься. Двери распахнулись, и пьяные красотки в туалетах Евы с хохотом набросились на гвардейцев. Все случилось исключительно по их желанию, даже штаны расстегивать самим не пришлось. Потом женщины исчезли, оставив гвардейцев приводить себя в порядок. Управляться нужно было быстро. Разводящему майору нравы были известны, но устав соблюдался строго. Гвардия, как-никак. Рядом – очень удобно, был небольшой туалет, Никулеску уже имел опыт. Платок пригодился, помаду стереть. Все решали минуты. Едва успели, явилась смена. Майор оглядел влажных гвардейцев, но придраться было не к чему.

Никулеску поздравил товарища с боевым крещением, на этот пост всегда были желающие. Вернулись в казарму, передохнули, не засыпая, и тот же невозмутимый майор провел их к знакомой двери. Только местами поменял. Теперь там внутри было тихо. В восемь утра дверь отворилась и явилось Его Величество. В халате. Здравствуйте, господа гвардейцы. Как ночь? Спокойно? Так точно, спокойно. И король важно проследовал мимо. Наверно, поздороваться с мамой.

Через три месяца Гольдфрухта вернули из гвардии к себе в полк. Отец немного постарся, но, главное, к национальному вопросу в гвардии стали относиться строже и Гольдфрухта не удерживали. Ему выдали гвардейскую форму. В родном городе офицеры – старшие по званию, не рассмотрев, как следует, первыми отдавали честь. Такая форма была шикарная.

Война в Польше. К тому времени у Гольдфрухта была серьезная любовь. Невинная девочка Эдит Райфер. Отец – адвокат, председатель Еврейской общины в Черновцах, эрудированный человек. Общественный деятель. Торговал лесом. Адвокатура и торговля – друг другу не мешали. Ходил Гольдфрухт к своей избраннице в форме, румынская форма была очень красива. Он служил в полку, но жил дома. Говорили о женитьбе.

Командир полка по имени Козма был хорошим знакомым отца и отнесся к вернувшемуся из гвардии офицеру милостиво. Отправил Гольдфрухта в отпуск на месяц. Тут началась война Германии с Польшей. Румыния в войне не участвовала, но польская граница с Буковиной была недалеко. В Румынии объявили мобилизацию, Гольдфрухта перевели в казарму, он стал офицером связи между Восьмой дивизией (командир Димитриу) и своим полком, возил приказы. Гольдфрухт отлично управлялся с любым транспортом, и представлял идеальный тип порученца.

Немцы продвигались, Советский Союз вступил в войну, бомбили где-то недалеко. Польское правительство отходило в сторону Румынии по маршруту Варшава-Львов-Черновцы. Както раз собрали человек тридцать из разных полков, и Гольдфрухта среди них, одели в какуюто непонятную форму, шаровары, как у скаутов, посадили на мотоциклы. Выдали чешские автоматы, тогда они были в новинку. Получили задание: выдвинуться через границу в направлении Станислава (нынешний Ивано-Франковск), замаскироваться вдоль дороги, дожидаться поляков, сопровождать и перевести в целости через румынскую границу. Опасались грабежей и украинских партизан, которые нападали на поляков с тыла. Километрах в двадцати от Станислава группа рассредоточилась, люди, как ехали, по трое, укрылись в кустарнике, стали ждать. Дорога была забита беженцами, летали самолеты, чаще немецкие, но были и советские, стреляли те и другие, но немцы еще и бомбили. Попали в расположение Гольдфрухта, один погибший, у другого осколок в ноге, мотоцикл разбит. Сам Гольдфрухт уцелел. И тут показалась колонна. Впереди два грузовика с охраной, потом три большие черные машины. Про-

ехали. Нужно было думать, как выбираться самим. Гольдфрухт встал на дороге с автоматом, стал ждать. Машина вскоре появилась. Фольксваген, совсем новый, будто только из магазина. Водитель и больше никого – мужчина лет сорока, полувоенного вида. Свободно говорил по-немецки, но, видно, поляк. Ему нужно в Румынию. Втащили в машину раненого и поехали. Тут же кончился бензин. С автоматом в руках эту проблему быстро удалось решить. Гольдфрухт за рулем, поляк рядом. Пограничники остановили, с документами Фрица проехали беспрепятственно. Владельцу машины здорово повезло, Гольдфрухт так и не узнал, кто такой и откуда. Он не интересовался, а поляк молчал. Всех, кто в эти дни переходил границу, интернировали в Черновцах на стадионе, румынский нейтралитет отличался по отношению к немцам большой доброжелательностью. Сдали раненого, поляк предложил купить машину. За две тысячи лей. Очень недорого, Гольдфрухт тут же заплатил. Добавил сверху, поляк подарил ему пистолет Вальтер, из-за оружия у него могли быть неприятности. Гольдфрухт подвез нового знакомого до вокзала, оттуда отправился на дачу, спрятать пока машину. Спустя два дня вернулся, ее уже не было. Наверно, сторож засек, или кто-то еще, факт тот, что машину украли.

Все, кто принимал участие в этой операции, были награждены польскими военными крестами. И Гольдфрухт в том числе.

С Эдит Райфер кончилось ничем. Они переехали в Бухарест, а сразу после войны переселились в Израиль. Ее отец был важным человеком в Тель-Авивском горсовете, чуть ли не председателем. В Израиле Эдит вышла замуж, родила троих детей. Потом жила в Лондоне, Гольдфрухт, когда гостил в Израиле, навел справки. Хотел связаться, но передумал. Зачем?

Армейские неприятности. Гольдфрухт служил командиром отделения 4-й батареи 17-го артиллерийского полка. Командиром батареи был Пикуляк – украинец, значившийся теперь румыном. Украинцем в тогдашней румынской армии не мог быть офицером Еврей пока еще мог, а украинец – нет. Впрочем, ко времени этих событий к евреям отношение сильно изменилось в худшую сторону. Гольдфрухт это на себе почувствовал. Пикуляк был лейтенантом в капитанской, по нашим представлениям, должности. Батарея была из четырех пушек, на каждую пушку полагалось по отделению. Пушку тащили шесть лошадей, в два ряда, в переднем ряду на лошадях сидели солдаты. Такая была техника.

Как и многие офицеры, Гольдфрухт жил дома. Если после службы офицеров оставляли в казарме, знали, что-то готовится. Гольдфрухт ночевал тогда вместе с солдатами. В четыре утра начались маневры. Оседлали лошадей, выдвинулись на границу. Дело было где-то в районе Хотина. На другом берегу Днестра был Советский Союз, который называли просто Россией. Румынский берег – высокий, советский – пониже, видно далеко. Из советских сел через репродуктор неслась музыка, настроение казалось бодрым. Вообще, с румынского берега жизнь в Союзе выглядела достаточно праздничной, по крайней мере, на первый, поверхностный взгляд. Более основательно Гольдфрухт не интересовался и не вникал. В Черновцах был свой европейский мир, здесь были его интересы, местная буржуазия на восток не оглядывалась.

Изнурительный марш продолжался два дня. Шли вдоль виноградников богатейшего местного помещика графа Деласкала. В тогдашней Бесарабии вино было дешевле воды, ведро вина стоило одну лею, а воды – три. Во время марша Гольдфрухт страдал, ночи были холодными, солдаты спали под армейскими одеялами, а его поход застал в одной шинели. На третью ночь пошел дождь. Он откочевал в сторонку, нашел укрытие, и так крепко заснул, что открыл глаза, когда полк снялся и ушел вперед. Гольдфрухт в шинели бежал по раскисшему от дождя полю, догонял своих. Батарея становилась на позиции для стрельбы. Пикуляк набросился на него, а Гольдфрухт – на солдат, с ними у него были хорошие отношения, почему не нашли. Те оправдывались, искали в темноте, кричать нельзя. Приказано было немедленно выступать, досыпали в седлах, пока командир догонял. В отделении у Гольдфрухта все ездовые были украинцы.

К тому времени резко усилились антиеврейские настроения. *На гражданке* пока было мало заметно, а в армии сказывалось основательно. Румыния приняла сторону немцев, в каждом полку появился немецкий советник. Евреев в армию теперь не брали, и выживали тех, кто еще оставался. Тут и начались неприятности. Как-то Гольдфрухт налетел в расположении полка на человека в гражданской одежде. Тот выскочил из-за угла, обозвал Гольдфрухта *собакой*, а потом добавил *жида*. Это было слишком. Гольдфрухт с ходу заехал обидчику кулаком и пошел дальше. В тот же день его вызвали к командиру полка – Козме (напомним, другу их семьи). Полковник хмурился. Гольдфрухт нокаутировал полкового сапожника, бывшего сержанта с двадцатилетней выслугой. Объяснения Гольдфрухта, по-человечески, были понятны, но сапожник остался без зуба и теперь настроил рапорт. Козма вертел недовольно головой, Гольдфрухта отослал. По-видимому, думал, как замять дело. Но, увы. В тот день Гольдфрухт был дежурным по полку, зашел к себе в казарму. Солдаты чистили лошадей, качество работы проверяли белым платком. И Пикуляк нашел грязь. Гольдфрухт застал экзекуцию. Лежащего солдата его отделения стегали кожаными постромками. Гольдфрухт возмутился: – Господин лейтенант... А Пикуляк в ответ при солдатах: – Не твое дело, жид... Нужно заметить, Гольдфрухт не был драчуном и задирой, но в Англии много занимался боксом, и его сильно били, пока не выучили. В общем, Пикуляк оказался в нокауте. На этот раз Козма был очень мрачен. Гольдфрухт поднял руку на старшего по званию. Объяснения не устроили, Козма не мог их принять. И Гольдфрухта под охраной отвели к Уполномоченному. Был сороковой год. В армии ввели такую должность, вроде, политрука в Красной армии. Делом занимался лейтенант в синем кителе. – Как вы смели поднять руку на старшего по званию? Назвал жидом? Это не оскорбление.

И Гольдфрухта арестовали. Первые сутки он провел в гарнизонном карцере, размером со шкаф, в котором можно было только стоять. Держали в кандалах. Сутки дались очень тяжело, ноги распухли. Хорошо, что на следующую ночь в караул заступили свои солдаты, выпустили. Принесли поесть.

Объявили, дело передается в военный трибунал и Гольдфрухта перевели в городскую тюрьму. Тогда там сидели коммунисты, знаменитая Анна Паукер (в будущем Министр иностранных дел социалистической Румынии). Впоследствии Гольдфрухт, как следует, ознакомился с тюрьмой, когда занял место Паукер и ее товарищей. А пока его в кандалах провели через город, по Русской улице. Впереди солдат с винтовкой, сзади солдат. Пояс сняли, шпоры сняли, погоны оставили. Половина города Гольдфрухта знала, вели его днем. Вдоль улицы стояли зеваки, здоровались, интересовались, за что? Было не до них. Посадили его с фельдфебелем по фамилии Рыбак, того подозревали в шпионаже в пользу Советов. Начальником трибунала был полковник Кристеску. Полковник бывал у Гольдфрухтов в гостях, но теперь оказался в стесненных обстоятельствах. Солдат запугали, они дали показания, что Гольдфрухт полез драться без всяких оснований. Соответствующая статья предусматривала расстрел. Здесь до этого вряд ли бы дошло, но немалый тюремный срок грозил реально.

Отец отправился в Бухарест к своему другу Цинеску – начальнику румынского Генерального штаба. Цинеску отца принял, выслушал, сказал, ехать домой и не беспокоиться. Через два дня в камере появились обнадеживающие перемены, пришел начальник тюрьмы, спросил о жалобах (не было), просьбах (не было), к Гольдфрухту впустили ординарца, привели в порядок мундир, сапоги. Вернули ремень. Повели в трибунал. Полковник сидел в казенном трибунальском кресле, похожем на трон. По бокам – еще двое военных и один в гражданском отдельно, на местах для родственников и зрителей. Таковых не оказалось, слушание было закрытым. Гольдфрухта поставили перед трибуналом, зачитали *дело*. Приказали объяснить. Члены трибунала поглядели в сторону гражданского. Это был Цинеску. Он приказал Гольдфрухту подойти, повернуться спиной и изо всей силы залепил рукой по заднице.

На том и закончилось. Домой Гольдфрухта отвезла машина. Мать плакала. Отец был занят с больными и к сыну не вышел. Гольдфрухт принял ванну. За ужином семья встретилась. Отец был очень недоволен. Подумаешь, защитник еврейского народа. Нужно так действовать, чтобы не поддаваться на провокации, не попадаться, быть хладнокровнее и умнее. К ужину приехал Цинеску. Не пил. В соседней комнате у телефона дежурил адъютант, о чем-то докладывал. Цинеску оформил приезд в Черновцы, как инспекцию. В Европе шла война, напряжение чувствовалось. Тем же вечером Цинеску улетел в Бухарест.

Гольдфрухту дали короткий отпуск, подруги встречали восторженно. Прогулка в кандалах под охраной наделала шума. Когда вернулся в полк, Пикуляка не было, его перевели в Добруджу.

Приход Советов. Было летнее утро, люди шли по делам, магазины открыты, в общем, обычный день. Пока не появилась машина. Ехала медленно и вещала через громкоговорящую на румынском языке. Советский Союз предъявил ультиматум, через двадцать четыре часа советские войска вступят в Буковину. Румыния принимает ультиматум. Как гром с ясного неба. Потрясенные люди застывали на ходу. И тут же появились листовки. Ультиматум Румынии, оставить пространство до Прута. В тот день еще гадали, будут или не будут Советы занимать Черновцы, многие надеялись, что порядки в городе останутся прежними. Наверно, специально это было сделано, чтобы не поднимать паники, на следующее утро такие же листовки уже определенно называли Черновцы советскими. Началось невообразимое, по крайней мере, для состоятельных людей. До будущей румынской границы недалеко, тридцать километров, машин много, на каждом углу извозчик, уехать не составляло труда, но трудно вот так, внезапно принять решение. У Гольдфрухтов состоялся семейный совет.

Мать рвалась уезжать, плакала. Две машины, лошади, час езды, и они там. Отец был решительно против. Почему? Это их родина. Отец считал, что хорошо знает русских. Осталась память с войны. Это честные, добрые люди. Что они нам сделают?

По улицам потянулись армейские части. В Самгоре стоял полк тяжелых гаубиц, рядом артиллерийский полк, где служил молодой Гольдфрухт. Он был в кратковременном отпуске. Стал собираться.

Отец: – А ты куда? – Папа, я должен идти... Отец: – Никому ты не должен. Это твоя родина. Ты здесь вырос, ты здесь живешь. Почему ты должен уходить с родины? Мы – честные люди. Я – врач. Что мы кого-то ограбили? Кого-то убили? Ты честно служил. Мы остаемся.

Отец – глава семьи. Всегда принимал решения он. Такой в семье был порядок. И они остались.

Это не единственный случай, который теперь, задним числом может вызвать удивление. Люди, действительно, не испытывали за собой никакой вины, считали свою работу полезной и думали, что удастся прожить спокойно при новой власти. Вокруг шла война и предсказать даже ближайшее будущее было невозможно. Румыния явно ориентировалась на немцев, это проявлялось во всем, в том числе, в сильных антиеврейских настроениях. Гольдфрухт младший в армии на себе испытал. Отца можно было понять. Даже Пихул – начальник румынской политической полиции остался. Возможно, был какой-то договор с русскими, считал, что он им пригодится.

У Фрица был друг по кличке Чопик. Отец Чопика – по фамилии Ремер, был начальником уголовной полиции, бывший майор австрийской армии, румыны оставили его служить. Мать Чопика – баронесса Кока, из австрийско-итальянской знати, полный титул – Нелимонте де Валикьяре, сестру Чопика звали Мофальда. Они тогда уехали в Линц, старый Ремер там и умер. Гольдфрухт отгонял машину в гараж и съехался на улице с этими Ремерами. Движение шло напряженное, машины тянулись сплошным потоком, друзья успели на ходу пожать друг

другу руки. Чопик упрашивал. Заворачивай, ты же на ходу. Поехали, а если что, вернешься. Давай.

Чопик до сих пор живет в Вене. Нашел Гольдфрухта в Киеве, они изредка общаются по телефону, но со времени того поспешного прощания на черновицкой улице так и не виделись. Казалось, расстаются на месяц, на три, жизнь в молодости представляется бесконечным приключением.

Итак, решение было принято. Вечером и ночью вперемешку с беженцами через Черновцы уходила румынская армия – артиллерия, кавалерия, понтонные войска, пограничный полк, жандармский полк. Ранним утром пошла стрельба возле тюрьмы, освобождались румынские коммунисты. Кого-то ранили, больницы закрыты, многие врачи уехали, пришли к отцу извлекать пулю. Последней уходила комендантская рота. Строем, с винтовками тяжело пробежали по улице. Все происходящее было видно очень хорошо, из окон и с балкона дома Гольдфрухтов. Некоторое время внизу было тихо. Только советские самолеты непрерывно кружили над городом. Еще вчера оживленные улицы стали совершенно пустыми. Двери магазинов запахнуты. На тротуаре валялись выпавшие из чемоданов вещи. Румынские чиновники бежали, квартиры оставлены, имущество брошено. Город вымер. Потом оказалось, встреча Красной Армии состоялась возле вокзала. Но народа собралось немного, в основном, местные коммунисты.

Ожидание затянулось, советские войска обходили город. Июльский день был необычно пасмурным, шел небольшой дождь. Появился танк, встал, проехал дальше, за ним еще, пошли один за другим. Никаких флагов, пехоты, кавалерии, только танки. И вдруг цок, цок, цок, цок. На лошади сидит человек в форме и с зонтиком. С винтовкой. И под зонтиком! Гольдфрухт глазам своим не поверил.

Постепенно пустынная улица оживилась. Появилось много военных, забежали по домам. Стали подыскивать квартиры. Возле пустых появились часовые. И дальше, дальше, бегом, бегом. Квартиру, квартиру. И в доме Гольдфрухтов были подходящие. Напротив жил врач, доктор Дечнер – окулист. Уехал. Сверху – доктор Мендельсон, еще недавно бежал из Станислава, теперь отправился дальше.

На следующий день с балкона открылась картина невиданного разграбления. К бесхозным магазинам (большинство владельцев поспешно бежали) подъезжали машины и грузили все подряд. Обувь (неподалеку был магазин) вывозили мешками. Чтобы собрать пару, нужно было перерыть весь мешок. У Фрица появилась вскоре возможность убедиться.

Напротив дома Гольдфрухтов был отель Палас (в послевоенные годы – гостиница Киев). В Паласе модный ресторан. Около Паласа стоял швейцар. Когда отец выезжал со двора в своем фиакре, швейцар издали снимал шляпу, демонстрировал почтение. Но настали новые времена, и швейцар разительным образом переменялся. Первым делом надел красную повязку. Заявился к Гольдфрухтам, почти не здороваясь, прошел прямо к отцу. И важно объявил. Ваша эпоха кончилась. Ваша квартира подлежит реквизиции. Хозяином прошелся по комнатам, огромная гостиная, пятьдесят метров, столовая. Понравилось. Командовал, мать за ним бежала. Вот эту дверь нужно закрыть, здесь открыть. Мебель оставить, ничего не выносить. А кто въезжает – большая военная тайна. Вообще, настроение, как вспоминалось позже, было какое-то обреченное, никто не пытался спорить, возражать.

В дом стали тянуть военную связь, завезли генераторы, расставили вокруг охрану, разместили гараж во дворе. Машины Гольдфрухтов так там и остались вместе с лошадьми. Никто не объявлял о конфискации, просто выставили охрану, как и вокруг всего дома. Отец наблюдал и отмалчивался, рассчитывал выждать, когда жизнь устроится, станет более спокойной и понятной. По дому забежали озабоченные люди с оружием. В квартире Гольдфрухтов разместился штаб военной группировки. На первых порах все были Ивановыми, так в Черновцах звали русских. Потом стали присматриваться. Был главный, который командовал операцией,

остальные представляли рода войск. Пехота, летчик, танкист, кавалерист, артиллерист. Жили при штабе, то есть, тут же в квартире. Утром разъезжались по частям, вечером возвращались.

Понемногу стали налаживаться отношения. Фриц подружился с летчиком Михайловым (или Михайленко). Громадный дружелюбный парень. Михайлов румынского не знал, Фриц кое-как понимал русский, представился, показал мундир. Михайлов удивлялся погонам. Как-то зашел, занес бумажку. Адрес по-румынски. Ком, ком. Единственно, что он мог сказать. Знаешь? Знаю. Поехали. Сел Фриц в полторку рядом с шофером и отправились на Университетскую улицу. Там был склад, куда со всего города свозили конфискат. Мешки с сахаром, с кофе, с обувью. Все перепутано, навалом. Михайлов набрал всего, загрузил машину. И привезли к Гольдфрухтам домой, то есть, в штаб.

Обед. Мать поглядела на постояльцев и говорит: – Папа, – она иногда отца не по имени звала – Бернгард, а папой. – Как ни есть, но люди живут у нас, значит, они наши гости. Мы должны устроить обед. Так принято.

Отец согласился. Мать прошла по начальству, кого-то нашла, с кем-то переговорила, передала приглашение. И назначили торжественный обед. В честь освободителей. У Гольдфрухтов еще оставалась прислуга. Женщины с ног сбились. Стол на двадцать четыре персоны. Сервировали по самому первому разряду, три рюмки – совсем маленькая для водки, средняя для ликеров и большая для вина. Стаканы для воды. Парадные приборы, скатерть, салфетки. У Гольдфрухтов умели принять гостей.

Хозяев (бывших? – они сами не знали) было четверо – родители, сестра и Фриц. А из гостей – командующий, в белом кителе, застегнутом до верха. Голова бритая. Плохо знал французский, так он отрекомендовался. Штабные все знакомые, в форме. Некто в штатском. Простой мужик, неприметный, но лицо неприятное. Молчал, а остальные на него оглядывались. Фриц решил, что снабженец. В румынской армии должности, похожие на особистов, появились в последние годы, но они ходили в форме и опасений не вызывали. Настроение, впрочем, было приподнятое. Уселись, и Михайлов на правах старого знакомого (он и моложе остальных) взялся за столом распоряжаться. Где водка? На столе две бутылки. Встали, выпили за армию, за победу, и сразу налили по второй. Пользовались фужерами, рюмки остались нетронутыми. Бутылки быстро разошлись. В стену столовой был встроен шкаф. Понесли подряд – водку, коньяки, шнапс, ликеры, вина. Мать пришла в ужас. Она решила, что гости отравятся и умрут, а хозяев настигнет справедливое возмездие. Шепотом, по-немецки просила отца вмешаться. Это – водка. С ними что-то будет. А мы виноваты. Отец успокаивал, он считал, что знает славянский нрав. В общем, все пили много, кроме отца и генерала. Тот проявил умеренность. На прощанье генерал поцеловал маме руку, и поблагодарил по-немецки и с юмором. Оказывается, он знал язык и оценил ее волнение.

Буквально на следующий день штаб неожиданно снялся с места (всего они пробыли дней десять). Комнаты опустели. Валялись разбитые ящики из-под швейцарского шоколада, пустые бутылки, глаза жгло от запаха перца. Целый мешок его завезли, открыли, рассыпали и бросили. В углу громоздилась гора непарной обуви, всех цветов и фасонов, мужские, женские. Затащили, что попало, и вот осталось. Фриц хотел выбросить, мать не разрешила. Потом скажут, украли. Тут же пришел бывший швейцар с повязкой. Он уже должность себе определил, вроде комендантской. Комнаты велел не занимать, а отцу объявил торжественно. – *Наши* гости остались очень довольны приемом. Я поселю к вам очень хорошего человека.

И удалился такой же важный... Кажется, жизнь налаживается.

Новые порядки. Штабные апартаменты оставались пустыми. В комнате, где раньше была приемная для больных, поселился инженер железнодорожных войск. Он командовал Черновицким депо. Это был хороший, спокойный человек. Швейцар сдержал слово. Квартирант

учил Фрица читать по-русски. Первое слово, которое Фриц разобрал, было что-то вроде *Кмалх*. Так в побуквенном прочтении с латиницы выглядело – Сталин. Инженер был по национальности русским. Но вместе с новой властью объявилось много евреев – военных и гражданских спецов. Стали на постой у черновицких евреев, общение на идиш очень облегчило обмен информацией. Конечно, советские жили намного беднее, таков был бесспорный вывод, к тому же подсаляли на избыточную квартирную площадь, к черновицкой буржуазии. Среди праздников у советских получалось: Первое Мая, Новый год, Праздник революции – не густо. И еще особые праздники, над ними местные научились тонко иронизировать – Праздник обретения дефицита. Поскольку в Советском Союзе дефицитом было почти все, здешняя жизнь выглядела сытной и изобильной. И черновицкая публика со страхом ждала приобщения к новым порядкам.

Первые перемены обнаружались очень скоро. Гольдфрухтам пришлось смириться с потерей обеих машин и лошадей, без всяких бумаг и объяснений. Машина, которую младший Гольдфрухт купил у поляка, пропала еще раньше, ее украли прямо с дачи. Отец не мог, как прежде, разъезжать по больным, принимал только дома. Он полностью посвящал себя работе. А Фриц не знал, чем себя занять, ходил по замершему городу. Знакомые – а в Черновцах их семью знали все – удивлялись. Казалось, они должны были бежать первыми, богатые люди, что им здесь делать.

Но остались, как оказалось, не только они. Некоторые владельцы магазинов не захотели бросать свое добро. Остались мелкие фабриканты, понадеявшись, что им ничто не грозит, а опыт может пригодиться. Остались многие помещики, те просто не успели собраться. Жизнью Союза здесь особенно не интересовались, а когда интерес приобрел характер сугубо практический, времени на сбор информации уже не осталось. Различия в системах хозяйствования и отношения к собственности были настолько разительны, что их трудно было постичь. Люди были далеки от политики и не видели за собой вины. – Я не сделал им ничего плохого. – Было в то время ходким (и, как оказалось, бессмысленным) доводом. Убеждал говоривший только самого себя.

Город стали очищать от вредных элементов. Постепенно, но настойчиво. Магазины, фабрики, земля подлежали конфискации, первыми забрали тех, кто стал протестовать. Прошлись по социально активным элементам – в городе оставалось немало таких, разного толка – в том числе, социалистов, коммунистов, пытавшихся подсказать власти справедливые решения. Идеалистам, как всегда, не повезло. Прикрыли злачные места, переловили сутенеров, проституток, прочую бездельную и довольно безвредную публику – игроков, спекулянтов, просто шпану. Особо интересовались отставными чиновниками, военными – таких здесь было много, город считался уютным местом и сюда стремились на старости лет. Теперь этих людей выживали по званиям, чиnam, они принадлежали к эксплуататорским классам, а возраст большого значения не имел. Пихул – тот самый начальник полиции, который хотел служить, исчез одним из первых.

Забирали по ночам. Поползли слухи. Как и раньше, новости в дом Гольдфрухтов приносили больные. Приняв за день несколько десятков человек, Гольдфрухт-старший знал, что происходит в городе. Известия были неутешительными. Доктор быстро прозревал, понял, что ошибся. Ответственность за принятое решение – остаться легла тяжелым грузом. Он еще считал себя хозяином положения, но чувствовал, время уходит. И тут в дверь позвонили.

Обыск. Ровно в девять вечера. Человек с красной повязкой на рукаве, за ним солдат с винтовкой со штыком. Бумага с постановлением прокурора о производстве обыска. Какова цель обыска? Оружие. Объяснялся на плохом украинском. Новая власть потребовала сдать оружие немедленно. Отец сдал австрийскую саблю, которую хранил с войны, буквально, пла-

кал, когда сдавал. Но сдал. Были охотничьи ружья. Сдали. Пистолет Вальтер, полученный у поляка, Фриц спрятал надежно на чердаке.

Стали искать. Солдат переходил из комнаты в комнату, волоча за собой винтовку, ничего не трогал. А товарищ с повязкой трудился во-всю. Каждый полчаса звонил телефон, он докладывал. Все немалое семейное состояние, нажитое за несколько поколений, ушло в ту ночь. Из семейного сейфа. Золотые монеты – пятьсот золотых луидоров, и советские рубли, которые доктор обменял на леи, сорок лей – один рубль. Были доллары, франки. Все выгребли, подчистую в мешок. Драгоценности матери – серьги, броши, обручальное кольцо – ушли туда же. Обручальное кольцо отца и его же перстень, которым Австрийский император награждал лучших выпускников Венского университета (отец им очень гордился). У Фрица было два кольца, одно с инициалами – на бармицву, другое – в честь окончания лицея. Забрали. Все столовое серебро вытряхнули на стол, туда же ушли серебряные канделябры, ритуальные еврейские ценности, все это в другой мешок, а все часы, какие были в доме, в третий. Описания не делали, дали одну расписку на изъятие предметов из желтого металла и вторую – на серебро.

После обыска в доме не осталось ни копейки. Когда изъятие закончилось, чин подступил к матери – где остальное? Мы знаем, вы укрываете ценности. Выдайте, или мы арестуем сына. У Фрица в комнате нашли завалившийся рожок от пулемета. Несколько лет он пролежал среди хлама и вот теперь неожиданно попался на глаза. И румынский мундир в шкафу. Фрица обвинили в хранении оружия. Вызвали на подмогу еще двоих красноармейцев. Мать плакала. В памяти Фрица осталось чудовищное унижение.

Наконец, утром ушли, закинув мешки на плечи. Обыск длился двенадцать часов. Что это было – грабеж или конфискация? Уже теперь – в последние годы века дотошный Фриц послал запрос о судьбе конфискованного. Он вообще немало потрудился и даже кембриджские права на вождение попытался восстановить. Оттуда – из Кембриджа пришло письмо о необходимости (за давностью лет) новых сведений о физическом состоянии водителя. И откуда-то, из организации (или из архива), занятой учетом конфискованных ценностей, поступило подтверждение о получении двадцати шести килограммов серебра. Судьба изделий из желтого металла осталась неизвестной. Фриц считал, что все награбленные ценности пополнили государственную казну.

– Вы думаете, себе? – Спрашивал он меня. – Конечно, нет. Ведь он же партийный. – Вера в чистоту партийных рядов у человека, прожившего дальнейшую жизнь в Союзе и имевшего возможность непосредственно ознакомиться с особенностями системы, впечатляла.

А тогда они остались в разграбленном доме среди перевернутой мебели. И вот еще деталь. Прошло тринадцать лет после трагической гибели жениха сестры. Все эти годы сложенное аккуратно приданое хранилось в отдельном шкафу. У домашних не хватало мужества, перевернуть и закрыть ту давнюю страницу. Теперь все было вывернуто, подвенечный наряд разбросан по полу.

Гольдфрухты походили, походили, и в десять утра легли спать.

Бегство. Конечно, из нынешнего дня напрашивается вопрос, почему они не жаловались, не искали справедливости. Каждое время рождает свое настроение, это может быть неопределенность, оптимизм, уныние, но во всем должна быть последовательность, предсказуемость. Они не ждали радужных перемен от новой власти, хотели всего лишь здравого смысла и признания, что ни в чем не повинные люди имеют право на жизнь. Теперь, когда надежды рухнули, ими овладел страх. Страх прямого грубого и беспощадного насилия и собственной беспомощности. Выброшенные одним махом из привычного, устоявшегося мира на произвол чужой системы, чужого языка, не понимавшие самих основ нового жизнеустройства, они были парализованы. Понять происходящее, приспособиться оказалось невозможно, выход был один – бежать.

Отец объявил на семейном совете, что бы ни случилось, но жить здесь они не будут. Братья помогут. Насчет братьев было сильно сказано (что потом и подтвердилось). Один брат во Львове, под Советами. Другой в Триесте, давно не дает о себе знать. Но решение принято, они должны уехать.

На Черновицком холме (когда-то он назывался Габсбургским) тем временем открылся пункт, где записывали тех, кто хочет переселиться в Румынию. Надежды на получение разрешения было мало, власть откровенно играла с людьми в кошки-мышки, но очередь стояла огромная. Доктора Гольдфрухта пропустили вперед, заслуженный в городе человек. Он записал мать, дочь, сына. А сам свернул прием и стал искать покупателя на медицинское оборудование. Два микроскопа – цейсовские, биноклярные, он ими гордился. Современная лаборатория. Центрифуги для анализов. Кабинет физиотерапии – солюкс, диатермия.

По-видимому, за ними уже следили, такое создалось впечатление. Это можно понять. Ограбленный врач (если к тому же допустить, что часть награбленного пополнила чьи-то карманы) был слишком приметен. Можно, конечно, арестовать, но тогда нужно забирать всю семью, а доктор известен в городе, пойдут пересуды, начнется паника (так потом и произошло при совсем других обстоятельствах). И какие основания для ареста? Новая власть пыталась произвести хорошее впечатление, доктор никак не принадлежал к числу эксплуататоров. И, видно, решено было действовать иначе.

Гольдфрухтам стали советовать, нужно спешно уезжать. Спасайтесь. Все продавайте и бегите. На улице подходили незнакомые, представлялись доброжелателями, предупреждали, за вами следят и вот-вот арестуют. Уже готов приказ, видели своими глазами. Только отец занялся распродажей, появился человек из Львова.

– Ой, вы меня не помните, а я вас знаю. Нужно все продать. Быстро, потому что они отберут. Вы не знаете, сколько было таких случаев. Скорее, скорее. Давайте, я все заберу, вот, деньги. Конечно, не то, что оно стоит, но что делать. Как только продам, я с вами расплачусь.

Подъехал на двух машинах и вывез. Рояль, ковры, мебель, все, что было. Гольдфрухты только потом спохватились. Куда он мог увезти, когда выезд из города закрыт, машины без специального разрешения не пропускают. Но отец действовал решительно, не считаясь с потерями. Главное было, вырваться. Не осталось ни денег, ни вещей, квартира стояла пустой. И тут же объявились два фольксдойча. По всей Буковине их было много.

– Доктор, вы наших лечили. Мы из Теремблечи, граница за сто пятьдесят метров. С другой стороны Сегет, Румыния. Мы вас переведем. Берите по чемодану на человека, самое важное и идем. Будьте готовы в любой момент.

На переговоры ушло несколько дней. Риск был огромный, но и оставаться теперь было нельзя. Вечером отец послал Фрица к доктору Цухрухту. Этот Цухрухт – санитарный врач был отцовским приятелем. Времена меняются и люди тоже. Цухрухт была хорошая штучка, при австрийцах он был Теодором, при румынах – Тодором, при Советах еще кем-то, теперь трудно вспомнить. Но выбирать было не из кого, а отец в последний момент решил оставить ему на сохранение дипломы – свой, сына и дочери. В Румынии, где-нибудь в другой стране он мог их подтвердить. Эти пусть пока остаются здесь. Кое-какие вещи он Цухрухту уже отдал. Но теперь у Цухрухта не открывали. Фриц поспешил к доктору Пахтеру. Отец его знал, Фриц был у него на свадьбе. Зиги (Зигфрид) Пахтер был женат на дочери директора банка. Позже ему удалось выбраться и он закончил свою жизнь в Париже, стариком. Конечно, вариант Пахтера был ненадежен. Но что делать? Вместе они спустились в подвал и нашли подходящее место для тайника.

Когда спустя два часа Фриц вернулся, дома было темно и пусто. Пробежал по комнатам, никого. Только телефон звонил каждые пять минут, но трубка молчала. На кухне записка. От отца. Сын, мы ушли в Строгинцы, добирайся сам, мы тебя ждем.

Строгинцы – в семнадцати километрах от города. Двадцать восьмое сентября. На улице темень. Комендантского часа нет, но кругом пусто. Ни людей, ни машин. Подъезжает эмка. Выглядывают два молоденьких офицера, объясняются на ломаном румынском. Вам куда? Строгинцы? Мы как раз туда. Садитесь, подвезем. В руках у Фрица чемоданчик с парой белья, за поясом, под пальто пистолет, тот самый припрятанный Вальтер. Доехали весело, офицеры пытались вовлечь Фрица в разговор. В Строгинцах показали дорогу, всё они здесь знали. Адрес немцев у Фрица был, он и самих знал, познакомились у отца. Шмидт и Дах – фамилии. Даже шутили по- немецки. Оне Шмидт эйн дах, оне Дах эйн Шмидт. Без кузнеца нет крыши, без крыши нет кузнеца. Военные укатили (сделали свое дело). Несмотря на полную темень, Фриц нашел немцев быстро. Зашел во двор. – А, уже приехали. Мы тут еще одного ждем. Но ладно, поехали, не будем терять время.

Сели на подводу. Выбрались во тьме на околицу, где-то совсем рядом – речка Сегет, за ней румынский городок с тем же названием, огни видны. Зашли в какую-то хату, лучина чуть светит. Стоят отцовские чемоданы. Сидите, говорят, пока и отдохайте. Ваши уже там. Вещи потом переправим, с вещами им трудно. Все, вроде бы, правильно, но дурное предчувствие – лгут. Делать, однако, нечего. Фриц приоткрыл пальто, показал мельком пистолет. На тот случай, если собираются грабить. Проводники вышли, сказали, по нужде. Фриц выглянул. Стоят и фонарем помахивают. Это нашим с другой стороны знак подают. Так ему объяснили. Наконец, двинулись. Велели идти по тропке, не спешить, и в сторону не сходить. Ведут вдоль границы, видно по огням Сегета – ни дальше, ни ближе. Почему не туда? Здесь место неудобное для перехода. Идите спокойно, мы знаем. Шли минут десять, и вдруг со всех сторон из кустов посыпалось. Стой. Кто идет. Выстрелы прямо над головой. Шмидт тут же рванул в сторону. Человек десять обхватили со всех сторон и сразу за пистолет. Знали, что вооружен. И между собой. Шпион, шпион. Фонариком тычут в лицо. Руки связали. Куда-то повели, втолкнули в комнату. Военный за столом. Фамилия, имя, куда шел. Впрочем, и так ясно, куда. Заперли в погреб. Там уже была женщина, крестьянка, тоже задержанная, в углу мешки картофеля. Дело швах. Но, как ни странно, Фриц повалился на мешки и почти сразу уснул. Утром подняли, вывели на улицу. Один красноармеец впереди на лошади, другой сзади. Фриц шлепал между ними по селу, руки за спиной. Подъехала военная полуторка. Задержанного передали, как положено, с бумагой, посадили в кузов и повезли под конвоем назад в Черновцы.

Спустя годы, после возвращения из лагеря Гольдфрухт узнал, что в том районе, где они пытались перейти границу, погибло немало народа. Люди хотели вернуться в Румынию, которую считали родиной. Шли толпой, днем, под румынским флагом, совершенно открыто. Их остановили пулеметом.

Тюрьма. Его доставили в бывшую казарму румынского пограничного полка, там теперь было место предварительного заключения. Раздели, обыскали, одежду перещупали. И он оказался в камере. Комната, метров сорок со вторым этажом по периметру, вроде балкона. Сверху стали звать, знакомый помещик по фамилии Фишер. Имение рядом с Черновцами. Гольдфрухт там часто бывал. Для конца сентября день выдался очень жаркий. Люди сидели в одних трусах и с ожесточением работали руками. Издали выглядело странно, но прояснялось быстро, стены буквально шевелились от невиданного нашествия клопов. Нужно отдать должное семье Гольдфрухта, клопа он впервые увидел здесь. Насекомых били туфлями. Ему выделили матрац, и Фриц присоединился к остальным. Недели две он провел в приличной компании, на втором этаже сидела чистая публика – фабриканты, помещики, был священник, преподаватель университета. Как выяснилось, Фишер хотел бежать при помощи все того же Шмидта, случай был явно не единичный, между собой они называли это *фирмой*. Ясно, Шмидт был далеко не главным.

Больше всего Фрица волновала судьба близких. Если, забегая вперед, подвести итог тюремно-лагерной одиссеи: он попал за решетку в конце сентября сорокового года, освобо­дился из лагеря в мае сорок седьмого. С отцом он еще общался, с матерью простился в ла­гер­ной больничке, сестру видел издали, когда разгружали лагерный эшелон, спустя несколько лет встретил в лагере. Мать и отец умерли в лагере, сестра осталась жива.

В ту ночь их провели тем же путем, что Фрица. Точно также проходило задержание, солдаты высыпали из кустов с криками и стрельбой. Но стреляли плохо. Пуля попала док­тору Гольдфрухту в шею и вышла через щеку, как ни удивительно, ничего внутри не задев. Отца привезли в городскую больницу. Со стороны организаторов провокации это было крайне неразумно. Доктора в городе знали, тем более врачи, многие были его учениками. Они дер­жали Гольдфрухта в больнице больше месяца, лечить не спешили, из больницы его буквально вырвали и под конвоем перевезли в тюрьму. Оказалась, инсценировка с переходом границы была налаженным делом. Но после их случая провокации прекратились, история наделала много шума. Все это Фриц Гольдфрухт узнал после войны, когда вернулся в Черновцы.

А первые сведения о судьбе родителей Фриц получил от своего следователя. Только то, что они живы, без каких-либо подробностей. Следователь был молдаванин, неплохой парень, претензий к нему не осталось. Допросов было два или три, не слишком утомительных. Для начала его обвинили в шпионаже. К кому шел? Кто приходил к вам в дом? Румынские офи­церы? Румынская разведка? Мы знаем – вы офицер.

То, что он офицер румынской армии, Гольдфрухт не скрывал. Отвечать было легко. Какие могут быть у него секреты. Румынская армия со времен первой мировой войны была вооружена по образцу русской. Калибр пушек немного изменили, чуть высверлили стволы. Вот и все, что он знает. Все секреты записаны в уставе румынской армии.

А разведчики? Приходили люди к отцу. Лечились. В городе всегда было много военных. О чем говорили? Обо всем – о женщинах, о лошадях, о службе.

Допрашивали корректно. Можно даже сказать (Фриц так считает), относились с уваже­нием. Мотивы его поведения были понятны, он и не скрывал – шли в Румынию к родственни­кам. В общем, с ним пока обошлись милостиво и перевели в тюрьму Марии Терезии.

Статью, по которой он осужден, Гольдфрухт узнал только в сорок втором году в лагере на Урале. Он получил пять лет за попытку нелегального перехода границы. Тогда он уже немного говорил по- русски, мог спросить. Кто осудил? Тройка? Что такое тройка? Этому ему объяснить не смогли. Тройка – есть тройка. То есть, суд? Нет. А что? Тройка.

Вышел он из лагеря через семь лет, последние два года был не заключенным, а интер­нированным. Ему объяснили, он мог нанести ущерб стране и был потенциально опасен как офицер вражеской армии. Такими же интернированными считались немцы Поволжья. На его положении это никак не сказалось, он продолжал сидеть все в том же лагере. И все, кого при­везли вместе с ним, и кто смог выжить за эти годы, продолжали сидеть. Отпустили вместе всех уцелевших.

А тогда Фриц попал в городскую тюрьму Марии Терезии, как раз напротив лица, где учился. Была в этом некоторая ирония. В обязанности черновицкого гарнизона входила охрана тюрьмы, Фриц несколько раз командовал таким караулом. В тюрьме он был не впервые, хоть из недавнего прошлого ему, конечно, трудно было вообразить нынешнюю участь. Зато было с чем сравнить. Обыскали тщательно, по всем правилам и определили в камеру под номером 50. Камеры были рассчитаны на двух человек, а в ту осень, находилось в них постоянно от семнадцати до двадцати двух. Лежали на цементном полу, под окном располагался мелкий фабрикант Розберг – знакомый отца. Он находился здесь уже более месяца, пользовался ува­жением, как старожил, и устроил Фрица рядом. Лежали валетом. Ширина камеры – метр девя­носто, поворачивались по команде. Окна были забиты наглухо уже при нынешней власти. Не топили, но жарко было всегда. Столько людей, и запах от параши. Арестанты были сплошь

черновицкие, много воров, шпаны, два известных черновицких сутенера. Были непонятные люди – набожный, молодой украинец Турунчук, крестился каждые десять минут. Его почти каждую ночь вызывали на допрос. За что Турунчук сидел, Фриц так и не понял. Его тоже вызвали, предложили сотрудничать. Тут Фрицу было просто, он сказал, что не понимает ни русского, ни украинского, и от него отступились.

В этой камере он провел девять месяцев – до 23 июня 1941 года. Утром давали чай и двести пятьдесят граммов хлеба, днем суп из зеленых помидор неопикуемого вкуса. Потом норму хлеба немного повысили, это была основная еда. На прогулку Фриц вышел лишь раз, и рассудил, что двадцать минут в тюремном дворе ничего не дадут. Часа два – другое дело, а так – только простудиться, и, главное, привыкать каждый раз к камерному зловонию было мучительно. Поэтому он неотлучно находился в камере, пренебрегать прогулкой разрешалось. При румынах, при австрийцах камеры не запирались (это Фриц знал, как бывший караульный), заключенные ходили друг к другу в гости, делали, что хотели. С тех пор порядки сильно изменились.

В середине июня в камеру привели украинца Помзера, тот служил у Фрица в подразделении. Помзер был парнем сообразительным, знал языки (немецкий, румынский, украинский), румыны направили его в какую-то специальную военную школу. И вот теперь он неожиданно объявился. Можно было только догадываться, за что он попал, Помзер на свой счет не распространялся, но держался бодро. Говорил, что скоро начнется война, и судьба их непременно переменится к лучшему. О том, что могут расстрелять, Фрицу как-то не думалось, да и сама камерная жизнь была такова, что мысль о смерти не казалась страшной. Вообще, за годы заключения Фриц стал фаталистом, в тюрьме, как он уверен, это лучший способ выжить.

Двадцать второго июня в тюрьме начался шум, беготня, арестанты вернулись с прогулки с известием – война. Двадцать третьего заключенных вывели во двор, стали пересчитывать, готовить к отправке. Был очень яркий летний день, Фриц хорошо это запомнил после многомесячного сидения взаперти.

Офицер вызывал пофамильно и солдаты уводили группами. На букву А, потом Б, такой-то, такой-то. В ответ на свою фамилию, названный поднимался, называл имя, отчество.

Дошло до Гольдфрухта. Фриц откликнулся – Фридрих Бернгардович, неподалеку поднялся старик – Бернгард Арон Исаакович. Это был отец. Два часа они сидели рядом и не узнали друг друга. Отец никогда не носил бороды, а здесь – длинная, седая. И Фриц, видно, тоже сильно изменился. Потом выяснилось, они находились в соседних камерах, Фриц – в 50-й, отец – в 48-й, мимо его камеры отца выводили на прогулку. Про судьбы матери и сестры отец ничего не знал, как оказалось, они прошли через тот же двор вслед за мужчинами.

Их группу – человек двадцать посадили в закрытую машину и повезли на вокзал. С утра была слышна сирена воздушной тревоги и звуки далекой бомбежки. И последнее, что сохранила память от довоенного города: окно в машине было приоткрыто, и сквозь решетку он увидел рабочих, которые неторопливо белили трубы на крыше горсовета.

Дорога на восток. В эшелоне он не расставался с отцом ни на минуту. Вагон для перевозки лошадей был приспособлен под заключенных: нары, одной доски в полу нет, это уборная. Народ самый разный. Никто не бывал раньше в глубине страны, куда они сейчас направлялись. Был генерал-австриец 86 лет, его тоже забрали. Был бывший комиссар полиции с сыном, Фриц его знал, вместе учились, было несколько важных румынских чинов. Вместо четырех лошадей, как раньше полагалось, везли теперь человек сорок. Порядки в вагоне свободные – хочешь, устраивайся на нарах, хочешь – на полу. Подстелить нечего, даже соломы нет.

На день полагалось полбуханки зеленого от плесени хлеба, селедка и вода – два ведра на всех. У отца был диабет, Фриц отдавал ему свой хлеб, а тот ему – селедку. Тем они и жили больше месяца.

Вначале их преследовала румынская авиация. Хотели поезд остановить, сам эшелон не бомбили, только пути впереди. Во время бомбежки останавливались, охрана разбежалась, можно было выдернуть доски в полу и попытаться бежать. Но никто так и не решился. Было много пожилых, обессиленных тюрьмой, молодежь вместе с престарелыми родственниками. Фриц с отцом. Куда он мог бежать? Сам он, конечно бы, решился, но не сейчас. Переехали днем какую-то большую реку, бомбежки закончились. Часто стояли рядом с эвакуированными – такие же эшелоны, только двери вагонов нараспашку. Смотрели друг на друга сквозь решетку, ближе охрана никого не подпускала.

Примерно через месяц прибыли на место. Поезд остановился, где-то за Свердловском. Лес кругом, высокая насыпь, стариков из вагонов приходилось сносить на руках. Фриц запомнил, как они уселись с отцом, передохнуть. Пришли подводы. На них положили багаж, у кого был, сумки, отца посадили. Неподалеку разгружался женский вагон, Фриц увидел мать и сестру, мать выглядела совсем старухой, обе были больны, не могли идти сами. Поговорить им не дали, все, что Фрицу удалось – помахать издали.

Лагерь в жизни Фрица оказалось несколько. Первый был обжит – 3-4-х метровое ограждение из колючей проволоки, вышка на каждом углу, ворота, бараки. Началось с обыска, забрали медицинские инструменты отца, которые он сумел сохранить со дня ареста (с ними шел через границу). Распределили по баракам. Отец неожиданно воспрянул духом. Здесь следует добавить (Фриц это видел), отцу было очень тяжело. Отнюдь не физически. Сознание того, что, приняв решение остаться в городе, он обрек на страдание близких, сделало его глубоко несчастным. До самого последнего часа.

– Ничего, – крепился отец, – я поговорю с начальником. Мы – военнопленные, нас должны обеспечить.

Отец продолжал считать себя офицером австрийской армии. С этим он пошёл по начальству. Непонятно, как он объяснялся (не зная русского), но факт тот, что его назначили лагерным врачом. Правда, без инструментов, их не вернули. Не положено. Показали, где будет врачебный пункт. На следующий день вызвали Фрица.

– Ты – сын врача? Пойдешь хлеборезом.

Фриц кое-как понимал украинский. Среди заключенных оказались знающие люди, объяснили. Хлеборез – человек, кто принимает хлеб, режет на пайки, взвешивает и выдает. Фрица привели в барак, оказавшийся кухней, приставили к небольшому окошку, дали нож, весы, показали – вот, сколько должно быть, 400 грамм (или 200, с тех пор он забыл сколько). Хлеб свежий, ещё сырой. Попробуй отрезать ровно 400 грамм. Адский труд, руки с непривычки были в крови. Через три дня его сняли. Причем быстро, работа считалась очень выгодной. Он был рад. А продержался бы на хлеборезке, возможно, остался бы в этом лагере, вместе с отцом.

Отца изгнали из медпункта спустя несколько дней. Бернгард Гольдфрухт упрямо считал себя военнопленным и отстаивал права лагерников, ориентируясь на всякие международные соглашения, которые помнил с прошлой войны. Их этап оказался особенным. Поразительно, что будучи заключенными, узнав тюрьму и отчасти привыкнув к тюремным порядкам, люди не могли понять, что с ними происходит. Обыватели и буржуа они представляли мир, как продолжение родных Черновцов, реальность – пусть менее благополучную и комфортную осознавали, как неразрывную череду причин и следствий. Прошлая жизнь придавала им уверенность, что наказание (пусть даже несправедливое или чрезмерно жестокое) следует за виной, но они не видели за собой никакой вины. Это лишало их нынешнее состояние какого-либо подобия смысла, в том самом изначальном его понимании, которое определяет существование и жизнь. Они не знали языка, правил поведения, не понимали систему, которая загнала их сюда, но проблема здесь была глубже – отсутствовало само представление о цивилизации, которое еще недавно казалось им – европейцам совершенно естественным. Здесь был свой особый мир. Они старались приспособиться и выжить, но этого оказалось недостаточно.

Фриц провел в этом лагере рядом с родителями недели три. Собралось человек триста-четыреста со всей Буковины, много знакомых. Конечно, нынешнее существование не имело ничего общего с прошлым, но, казалось, хуже быть уже не может. И тут утром, на переключке всем более-менее здоровым приказали собираться.

Фриц успел забежать к матери. Она была в лазарете, совсем больная. В памяти осталось – матрац на досках и голова на подушке. Что он мог сказать? За минуту поздоровался и попрощался. Скоро увидимся. Это были ее слова. Поцеловались, и он вышел. С сестрой так и не простился, женщин угнали на какие-то работы.

Еще было тепло. Отец подошел, торопясь, их уже строили в колонну, снял с себя шапку, надел на него.

– Сыночек, не думай о нас. Мы о себе позаботимся. Делай то, что считаешь нужным.

Они обнялись. Больше он родителей не видел. Известие о смерти получил сразу на обеих. Спустя много лет пришли официальные справки. Отец умер 9 ноября, мать – 2 декабря 1941 года. Причина смерти – болезнь сердца и возраст, поразительно, что лагерные болезни проходят под теми же названиями, что болезни в обычной жизни.

Лагерь. Их выгрузили на снег среди леса. Как выяснилось (потом Фриц узнал), это была все та же Свердловская область, километров за 70 от Полярного круга. Ближайшее село километров за 150, это в одну сторону, в другую – за 30.

Объявили. Стройте здесь, на этом месте. Раздали топоры, пилы. Расстелили брезент. На снегу ночевали. Жгли костры, дров хватало. Лошадей откуда-то пригнали. Расчистили место. Когда выстроили барак, перешли жить туда, потом – второй, третий, вахту, ограду, вышки, ворота, столовую, в общем, подняли тюрьму собственными руками. Подавляющее большинство заключенных не имело никакого отношения к строительству, лишь немногие, в основном, крестьяне, вообще занимались физической работой. Поэтому результаты их труда можно считать удивительными, вернее, неожиданными, как неожиданным оказалось самое осознание рабства. Здесь Фриц понял, он стал рабом. За несколько месяцев уральской зимы они поставили среди леса лагерь. Место это – лагпункт, называлось *Белая*.

Фриц обморозил ноги, все это время он ходил в туфлях, оставшихся еще с ареста. Обморожения были массовыми. Организовали бригаду, которая плела лапти. Фриц тоже научился, у плетения лаптей, как у любой профессии, – свои секреты.

Потом, когда стали выводить на лесозаготовки и строительство узкоколейки, выдали старые ватники и валенки, шапки. Время для Фрица кончилось. Исчезло всякое представление о календаре, о днях недели, тем более, первые три-четыре года выходных дней не было вообще. Заметным оставалось только время года – весна, короткое лето, осень. Примерно спустя год с новым этапом пригнали старого знакомого по Черновцам. Тот работал при лазарете, хоронил мертвых. От него Фриц узнал, что родителей нет в живых. На следующий день он остался в бараке, на работу не вышел. Его бросили в карцер – большую крытую яму с грязной подстилкой на дне. Большую часть времени он провел один, в полной темноте. Он перестал есть. Ежедневно полагался кусок хлеба и вода, на следующий день их забирали нетронутыми (и съедали тут же), всего восемнадцать раз. Так он считал время. Не то, чтобы он хотел умереть, такие мысли не приходили в голову, но испытывал полное безразличие к собственной судьбе. Возможно, благодаря этому, сознание оставалось совершенно ясным. Через восемнадцать дней его подняли и повели в медпункт. Шел он сам. В медпункте отказались его принять. На счастье Фрица, у лагерной бани, куда его отвели, в тот день оказалось два достоинства – горячая вода и заведующий – бессарабский еврей, старый знакомый.

Была еще одна история, связанная с этими людьми. Спустя некоторое время, когда он уже вышел на работу, у него невыносимо разболелся зуб. Врач – женщина, капитан медицинской службы считала всех заключенных врагами и предателями и никак им не сочувствовала.

Она велела Фрицу придти в начале следующего месяца (так он узнал, какое теперь число), а объяснила: за этот месяц медицинский отчет уже составлен, количество больных зубов подсчитано. До первого числа оставалось несколько дней, и Фриц не стал ждать. Он пошел к тому же знакомому банщику, и тот пальцами вырвал зуб.

Такая манипуляция – удаления зубов руками проводилась и по другому поводу, Фриц тому свидетель. История эта связана с уголовниками. С ними он постоянно сталкивался. В лагере украли единственную память об отце – серебряную коробочку, в которой отец носил заменители сахара. Одну из двух он отдал сыну. Как-то Фриц попал на свердловскую пере-сылку, во время перевода из одного лагеря в другой (всего таких лагерей в его жизни оказа-лось четыре). Завели новоприбывших в огромную камеру, народа было много, но место остава-лось. Каждый из лагеря шёл с какой-то сумкой, с парой белья, шарфом, тряпками. Мундштуки делали из дерева. Стали устраиваться на ночь, укладывались под нары, а Фриц выбрался на самый верх, внизу дышать было нечем. И вдруг свет погас. В полнейшей тьме полезли воры, стали ощупывать. Только и слышно вокруг, ш-ш, ш-ш, ш-ш. Начинаешь дергаться, они давят умелыми руками. У Фрица выдернули валенки, у других еще что-то. Поднялся крик: Охрана! Свет! Охрана в ответ со смешком: – Что такое? У вас света нет? Сейчас сделаем... Пока всех не обшмонали, свет так и не включили. В этом бессарабском этапе был бандит по фамилии Билецкий из Кишинева, между прочим, когда-то при румынах имел свой банк. На следующий день стали выяснять отношения с камерным авторитетом. Схватили какого-то несчастного, на спор Билецкий сунул руку ему в рот и выдернул здоровый зуб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.